

Алексей
Ливеровский

Секрет Ярика

АМФОРА



В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Алексей Ливеровский

Секрет Ярика

Санкт-Петербург

Амфора

2016

УДК 82-93
ББК 84(2Рос-Рус)6
Л 55

12+

Издание не рекомендуется детям младше 12 лет

Ливеровский А.

Л 55 Секрет Ярика : [рассказы] / Алексей Ливеровский. — СПб. : ООО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2016. — 191 с. — (Серия «В мире животных»).

ISBN 978-5-367-03770-8 (Серия)

ISBN 978-5-367-03786-9

В книгу Алексея Алексеевича Ливеровского (1903–1989), известного отечественного химика, лауреата Сталинской премии (1947), писателя и увлеченного охотника, вошли рассказы о собаках и охоте.

УДК 82-93
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-367-03770-8 (Серия)
ISBN 978-5-367-03786-9

© Ливеровский А. А., наследники,
2016
© Оформление.
ООО «Торгово-издательский дом
«Амфора», 2016

СОЛНЦЕВОРОТ

НАЧАЛО ГОДОВОГО КРУГА

Уходит год...

Так утвердил человек, что конец и начало годового круга приходятся на темную пору, когда спит земля, укрытая снегом, и лютует мороз.

Наблюдатели природы — земледельцы, лесники, моряки, охотники и поэты — вспоминают лицо уходящего года.

ДЕНЬ ПОЛУКОРМА

В солнцеворот, когда зима на мороз, а солнце на лето, говорят, поворачивается в берлоге медведь, а для домашнего скота наступает день полукорма — должна быть потрачена только половина запасенного корма.

СЕЧЕНЬ

Не в полночь, не на исходе ночи, а на рассвете крепчает мороз. В годовом круге январь самая холодная пора и рассвет. За то, что смотрит январь и в новый и в старый год, назвали его римляне именем двуликого бога Януса.

У нас на Руси именовали этот месяц тоже по характеру, но проще — Сечень.

ТЕПЛО ПОД ВОДОЙ

В глубоких омутах, в черных ямах, покрытые слизью, одна к одной сонно стоят рыбы. Темно под водой, но тепло — теплее, чем на воздухе. Может быть, поэтому не в лесу, не в поле, не на светлых мшагах, а под толстым льдом первым почувствует весну пегий налим, выйдет на отмель и закрутится в весенней игре — танце просыпающегося солнца.

ПОЮЩИЕ СНЕГА

Слепящий простор, синие тени деревьев, путаница голубых лыжных. Можно пить воздух — утром понемногу, с опаской, днем в полную меру. На рассвете воздух острый, как ледяные иглы, днем, когда согреется, мягче и пахнет талым снегом. Не верьте, что снег — вода, запаха не имеет. Кто бывал в эту пору в поле, знает. Надо уйти подальше в февральские поющие снега. Да, поющие! Солнечным утром снег не по-зимнему шуршит и повизгивает под лыжами, а поет. Поет мелодично и радостно.

ГЛАЗА МАРТА

В полуденные часы среди туч показываются глаза марта. Холодные они, но веселые, с искрой. Глянут вниз, и нестерпимым блеском вспыхнут снега, разбегутся по ним бессчетные огоньки, а тени, резкие голубые тени, спрячутся за стволами деревьев. Больно смотреть в глаза марта. Потому низко, опустив голову, бродит по насту и поет про них краснобровый косач и про них же — про синие глаза марта — изредка спрашивает далекого соперника: «ви-диш-ш-ш-шь?»

ЗИМЕ КОНЕЦ

После звонкой от мороза ночи, после зеленой от стужи зорьки в полдень взлетела над спящими снегами синица. Взлетела на вершину самой высокой осины и суме-

ла увидеть весну. Осмелилась спеть: «Синий день! Синий день! Синий день! Зиме конец!»

Эту песню услышали все, и никто не удивился. Осерчал только ветер сиверик. Дохнул недовольно раз и другой и разошелся. Три дня гуляла, гундела и гремела пурга. Три дня шумела, шелестела и шипела поземка. Синица не испугалась. Оттерпелась в дупле от сиверика и, только унялась погода, вылетела, пригрелась и твердит веснянку: «Синий день! Синий день! Синий день!»

КАПЛЯ

Из снежной подушки на крыше вытекла капля. Пока капля сбегала по карнизу, она несколько раз превращалась в льдинку, но потом набрякла и брызнула на панель. Тотчас, как эхо, по всем улицам разбрызгали весеннюю канитель воробьи.

ПРОТАЛИНКИ

ВЕСЕННИЙ ЗВОН

На заре в садике против открытой форточки запел с прилета зяблик.

В кухне под газовой плитой забренчал кастрюлей еж. Он спал всю зиму в ватнике за шкафом и вышел первый раз.

«Фюи-фюи-фюи-титирвич!» — пел зяблик.

«Динь! Динь! Динь!» — звенел еж.

Спать было невозможно, но никто не сердился, лежали и улыбались. Радовались: пришла весна.

РАЗГОВОР С СОЛНЦЕМ

Озеро посинело и подняло лед. Облачно.

Я знаю, что где-то там, далеко от берега, прямо на льду отдыхают стаи пролетных птиц. Их не слышно, они пасмурничают.

Солнечные столбы опускаются из облачных прогалов и скользят по льду широкими ослепительными пятнами.

Когда сияющий блик приходит к чайкам, они кричат радостно и визгливо, все время, пока не вернется тень.

Замолкли чайки, вдаль уходит солнечная поляна, и вот уже кроншнепы встречают ее томной путевой песней. Еще дальше звонко трубят солнцу лебеди и примолкают, когда гаснут лучи.

Снова бегут по озеру солнечные столбы, и опять кричат птицы.

Так час за часом идет у них разговор с солнцем.

НАЧАЛО ВЕСНЫ

Серые-серые ольхи выкинули сережки, стали рыжими и пушистыми, когда на редкие островки снежной крупки пошел дождь.

Теплый туман поднялся до рыжих вершин, и там, в легкой дымке, затрепетал вальдшнеп. Он проткнул клювом белесую пелену, вылетел на поляну и радостно цикнул. Тотчас его простую и бодрую песню подхватил певчий дрозд, попробовала повторить зарянка, по-своему переиначил скворец, и нескончаемым ответом, стонущим воркованием загудел косачиный ток в Долгом Мху.

ПЛАЧЕТ БЕРЕЗА

Ветер притих с вечера, а к утру сосны на току совершенно застыли. Оранжевая зорька была чиста, но вечернего большого тепла хватило на всю ночь, и под ногами не хрустело.

Глухарь пел без умолку, словно хотел допеть все, пока не состарилась весна, не растаяли последние блинки снега, не отцвели подснежники, пока не заурчал шумливый козодой.

Я подошел близко. Он показался мне очень большим — черный, гладкий, на гнупом сосновом суку. Стре-

лечь пришлось через вершину не одетой еще березки. Глухарь умер там, наверху, не допев песню, и рухнул в мох.

Тяжело держать в руке грузную птицу, но как она хороша! Сине-зеленые перья на груди, седая изморозь шеи, рыже-коричневые крылья, чистое белое пятнышко у плеча и хвост как траурный веер.

Умерла красивая птица.

Крупная прозрачная капля упала мне на руку. Еще и еще, чаще и чаще. На небе — ни облачка. Откуда же дождь? Плачет березка, роняет капли с перебитых дробью ветвей. Каждое утро он пел здесь, рядом, большой и нарядный.

МОРСКАЯ МЕЧТА

В эти дни малые речушки — песчанки, мельченки, каменки — становятся речками. Вода прибывает, залило в деревне бани, вздулись, как речки, канавы. На высоком берегу стучат молотки и пахнет смолой.

Пусть на Волге и Каме конопатят широкобокие баржи и смолят завозни, здесь, на малых речках, весной любая плоскодонка, похожая на простое корыто, — осколок морской мечты. Шумят вешние воды, и все кажется новым, иным. Мальчишки в мечтах превратились в бородатых пиратов, а бородатые дяденьки — в мальчишек. И тем и другим думается: а что, если сесть в эту лодчонку и плыть, плыть далеко вниз по стремительной и сверкающей дороге половодья? Можно до моря доплыть?

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ

Не богата красками первая половина весны, — светятся только небо и солнце. Бурые поля, голые купы лиственных вершин, море сухой листвы.

И цветет земля в эту пору скупно и неярко. Первые островки белой ветреницы и синей перелески, на откосах желтые звездочки мать-и-мачехи. Под древесным

пологом всегда в разлуке — далеко один от другого — расцвели кустики таинственного волчьего лыка. И, словно на помощь бледной нашей весне, падают и падают с неба на полую воду живые цветы.

Кряковый селезень остановился с подругой на отдых на тихом плесе лесной речки. Склонив голову, он любит себя. Зеленая шея с белым колечком, винно-коричневая грудь, седое, со струйчатыми темными линиями брюшко, фиолетовый блеск зеркальца на крыльях. Наряден, красив кряковый селезень в весеннем перье!

Круто завернула стайка связей, сверкнула белыми подкрыльями и села на отмель. И эти самцы одеты ярче спутниц. Клювы голубые, вишнево-рыжие головы в мельчайших черных крапинках, все тело, как чеканным серебром, покрыто дымчатой рябью.

Из канавы у самой деревни выпорхнула парочка чирков-свистунков. До чего щеголеват маленький кавалер! И впрямь живой цветок! Белые линии, словно каемки лепестков, оттеняют роскошь сине-зеленых полосок, протянувшихся от глаз к шее, через багряную головку. Тонок и узорчат рисунок голубых перышек спинки.

Но что это? Неужели на полном припеке, на островке посреди залитого солнцем плеса уцелел кусок снега? Вихрем взвился снежный комочек и улетел, мелькая среди затопленных кустов. Это луток — снежно-белый крохаль...

Живые цветы — и все пестрые, все разные...

ЦВЕТЕТ ЧЕРЕМУХА

Везде светятся яркие кисти черемухи. Не видно ее ни летом, ни зимой, а вот зацвела, и всюду она — в подлеске, на опушке глухого ельника и пенной грядой вдоль канавы.

Простовато пахнет черемуха, но какой это памятный запах! Вдохните глубже пряный, резковатый запах со-

цветий, и вы непременно вспомните детство или далекий склон спокойной русской реки, где приходилось бывать, а может быть, и того, кто, казалось, давно забыт.

ЛИСТЬЯ ДУБА

Всегда удивляешься рождению новой листвы. На гибких веточках черемухи, бузины и березы лопаются почки, из них высовываются светло-зеленые или розовые язычки.

Когда распускается дуб, это уже чудо. Смотришь, и не верится. Непонятно, как из такой узловатости и твердости выбиваются мягчайшие, похожие на светлый пух лепестки. Их даже совестно называть дубовыми.

В ЗЕЛЕНОМ НАРЯДЕ

СВИДАНИЕ

Каждый год, приехав из города в отпуск, я спешу на Зеглинский чищенник — болотистый, притененный деревьями луг. Иду, почти бегу, ищу глазами... Вот она! Стоит среди невысокой травы — белая, нежная цветом, любка. Я срываю одну, другую, вдыхаю неповторимый, памятный, тончайший аромат. Любка! Любушка! Я пришел, не опоздал. Я застал тебя в цвету — значит, все наше лето еще впереди.

ЛЕТНИЙ ЛИСТОПАД

Упали на землю мягкие прилистники липы и клейкие чешуйки тополя. Осины уронили на лесные тропы пушистые сережки, похожие на лохматых гусениц. Сегодня осыпается яблоневый цвет. В плодовых садах словно метель гуляет — крутятся на ветру, припорошивая уже высокую траву, теплые, чуть розоватые лепестки-снежинки. Вот-вот лопнут мохнатые шарики восточного

мака, вспыхнут пламенем и тотчас осыплются его недолговечные цветы.

ПОЕТ СОЛОВЕЙ

В колючих зарослях боярышника, ирги и акации поет соловей. В блеклых сумерках, в тишине белой ночи он поет так громко, что, кажется, от каждого щелканья вздрагивают белые пирамидки каштана.

УПРЯМЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Сохнут, зарастают травой лужи, калужины, проточины. Уходит из них вода, уходят и маленькие лягушата со смешными малюсенькими хвостиками.

Не малый путь! Долго они будут скакать, пользуясь ночной прохладой, и все же дойдут, доберутся до настоящей воды.

ДОРОГА

Нарушена деловитость вокзала — из дорожных тюков торчат ружейные чехлы и удочки. В вагоне празднично. Женщины в светлых платьях; разговоры о купании, ягодах, рыбной ловле.

Поезд выскакивает из тесноты пригорода на просторы полей. А дальше зеленой стеной стоит лес — густой и темный, где к полотну подошли ельники, открытый и светлый в березовых рощах. На откосах пятна белого и красного клевера, синие кустики вики. Подальше высокий и нарядный иван-чай.

В тот час, когда весь вагон еще спит, встаньте, горожанин! Невыразимо прекрасен ранний восход солнца.

Поезд идет по высокой насыпи. Внизу темная речушка. На седых от росы полях радужные искры.

Столбом поднимается дым из трубы одинокого домика, и ранний косарь, сверкнув отточенным лезвием, поворачивается лицом к уходящему поезду, прикрыв от солнца глаза.

ЛЕТО ПРИШЛО

Лето пришло... Стоят травы некошеные, нетоптанные. Стоят травы укосные, на полуденном ветру мягко шелестят, цветом переливаются.

Надсадно и тонко кричит высоко в небе хищная птица, на недвижных крыльях заплывает с просини на летнее круглое облако. Вечером прохладно в поемных лугах и на нивах. Мерный скрип коростеля не нарушает, а подчеркивает тишину белой ночи.

ЧЕТЫРЕ СТРЕКОЗЫ

Зимой еще приснилось мне, как тонет поплавок удочки. Белый с красной шапочкой, он уходил вглубь и немного вбок, тускнел и уменьшался на глазах.

Сегодня сижу на озере в лодочке и наяву смотрю на недвижные поплавки. Тихо, урез спящей воды делит видимый мир надвое. В верхнем сосны подпирают ватные облака и стена камышей укрывает даль. В нижнем, опрокинутом мире все странно. Нос лодки примостился на сосновом суку, один поплавок брошен в облако, второй торчит среди кувшинок, а кувшинки ослепительно белеют в вершине задремавшей березы. На поплавках уселись стрекозы, как недвижные синие флажки. Их две, но кажется, что четыре.

Две стрекозы забеспокоились — подходит вода к лапкам. Вспорхнули стрекозы, а поплавок, белый с красной шапочкой, уходит вниз и немного вбок, тускнеет и уменьшается на глазах... Сейчас подсеку!

НЕ НАДО ПРЯТАТЬСЯ

Летний дождь! Стремительный, обильный, веселый! Укроет от него разве только старая разлапистая елка. Ольха сразу промокнет сама, береза защитит ненадолго, под осиной лучше не стоять — любая капля повернет гладкий лист и скатится на плечи. Лучше не прятаться, идти и идти куда надо.

Недолог летний дождь. В поле просохнет рубашка, а на дороге сухо. Летний дождь только поит землю, нет грязи ни в колеях, ни на обочине.

ДВЕ РЕКИ

Наша речка тихая, течет так, что воды не замутит, — редко где заметишь вороночку коловерти. Струится река, не торопится, и над ней другая река, невидимая, с берега воздух стекает.

В нашу речку ручьи и ручейки впадают, разные. За первой переузиной устье Черного ручья, вода в нем темная, из болота. Пониже второй переузины — Быстрик-ручеек. Прозрачный, студеный — из ключей берется.

И в воздушную невидимую реку немало впадает ручьев и ручейков. На повороте, с крутика, где липовая роща, воздух струится напоенный липовым цветом. Густой, теплый. На прямике, где речка струной прохлестнула заливной луг, стекает аромат полевых цветов: сладкая радость клевера-кашки, резкий запах поповника, заморская пряность душистого колоска, горьковатый дух смолки.

Так и текут, не торопятся две реки: прохладная, водяная и над ней невидимая, теплая, что собрала ароматы цветущей земли.

У РУЧЬЯ

Пастух приложил к губам берестяную трубу и заиграл. Коровы, роняя капли воды с мохнатых морд, пошли, теснясь, через гулкий бревенчатый мост.

На перекате, где длинные бороды водорослей качаются от быстрой струи, мальчишки вилками ловят раков. Неподвижно сидит рак под камнем, выставив клешни и пуча глаза, но, задетый босой ногой, он стремительно исчезает в подводной чаще. Весело перекликаются ребячьи голоса — ничего, что красные, как у гусей, ноги скользят и больно стучаются о замшелые камни.

— Санька! Налим! Налим!

Пегая рыба величиной с доброе полено без опаски уходит на глубину: такого на вилку не поймает.

За перекатом омут — крутой, черный, окаймленный белыми лилиями. Яркие цветы открываются только солнцу. В омуте ивы купают протянутые ветви. С куста, заигравшись, падает бабочка. Она лежит на спинке, крылья ее трепещут. Торчком всплывает вязь, открывает рот, и... на месте бабочки крутится воронка и расходятся большие круги.

Вот где половить рыбу!

Жарко! У воды зной томит еще больше. Хочется купаться.

На палке от старого закола спят темно-синие стрекозы.

Высоко над речкой, как подвешенная, бьется на одном месте пустельга. Под самыми облаками парит орлан-белохвост. В траве у зеленой стенки хвоща, головой под плавучим листом и хвостом на солнце, стоит щука. Она неподвижна, будто не видит и не слышит ничего. Но если подойти неосторожно, только всплеск и длинный — углом — след покажут, куда ушла хищница.

Выше, где ручей бежит уже не покрывая камней, берега стиснуты зарослями смородины. Черные гроздья осыпаются в воду. Еще выше маленькая заводь — видно, как на дне ее кипит песок. Ключевая вода студит зубы. Здесь начинается река.

ЛУННЫЕ ЦВЕТЫ

Темнеют ночи. Каждый вечер гаснет в лугах яркий узор разнотравья. Выходит луна. Она поднимается над сосновыми вершинами, большая, спокойная и холодная. Вновь в траве появляются цветы, но только одни белые, других при лунном свете не видно.

ЗАПАХ ЛЕТА

Известно, что глухая зима пахнет елкой и мандаринами, осень — палым листом и грибами, ранняя весна — прелой землей и волчьим лыком. А лето? Кажется, все знают. Это свежее сено, липовый цвет, клевера и... вот еще самый летний, самый памятный запах цветка или какой-то травы. А какой? Этот запах сейчас особенно дорог — лето на убыли, частенько хмурится небо и дождит. Только в полуденные часы, если раздернутся тучи и солнце пригреет поле, возвращается запах лета.

Вздумалось мне найти эту травку или цветок. В погожий день отправился на поиски. Внимательно смотрел, даже на колени становился и нюхал.

Вот клевера: красный, белый, розовый. Самый летний аромат, но не то — и сладковат, и постоянен, одинаковый и в дождь, и в ведро. Поповник — белая ромашка? Куда ей с несильным горьковатым духом? Может быть, цветы картофеля? Нет, неожиданно нежен аромат разноцветных лепестков простой картошки, нежен и слишком приятен.

Может быть, на пригорках перегорел, изошел в тепле запах лета? Поискать в долинках?

В низине, среди молодых берез, в клочках некоей светятся последние пирамидки ятрышника — кукушкиных слезок. Приятный у них, похожий на ваниль, запах. Но побелели уже нарядные кисти, и надо собрать целый букет, лучше вечером, после захода солнца, чтобы понять этот цветок.

Еще ниже, у пересохшего ручья, густая заросль медуницы — таволги рябинолистой. Чистый мед! Ночью, в полной темноте, и то не ошибешься, узнаешь таволгу по сладости и резкости запаха. И опять не то. Появили, пожухли желто-белые соцветия и не медом, а псиной отдают.

Лиловые цветочки мяты, сухие зернышки тмина...
Не то, не то. Тут уж скорее вкус, чем запах.

Опять разошлись тучи, и солнце, все еще горячее, припекло сухой бугорок у льняного поля. Я остановился, замер на полшаге. Вот он! Знакомый, памятный запах северного лета. Откуда?

Зеленый, пышный коврик — островок невысокой травы. И в нем везде — и внутри и снаружи — тысячи белых звездочек. Так вот это кто! Это же...

Нет, не скажу, не назову, не выдам так просто. Пусть не я один, а еще кто-нибудь в первоосенние дни после непогоды, когда возвращается запах лета, поищет его, найдет и разделит радость.

ВСЕ БЕЖИТ

Негаданно пришел и дует холодный ветер. Не первый день. К полудню непременно разгуляется так, что шипящие гребни волн начнут заплескиваться далеко на берег, от них, словно напуганные, пытаются убежать прибрежные ивняки. Да и дальше, если посмотреть на поле, — кажется, все бежит: высокие сорняки на межах, желтая щетина льна, зеленая отава и одинокий кустик татарника. Все кланяются, мечутся и хотят убежать подалее от сердитого надоедного ветра.

ЗВЕЗДЫ УПАЛИ

Каждый вечер до позднего часа небо оставалось светлым, по нему бродили неяркие звезды, очень высоко и робко; и только одна из них — та, что появлялась за озером над кромкой леса, осмеливалась купаться у отлогого берега. Неделю шли дожди, дымные облака отрывались от сосновых вершин заозерья, мчались над водой и рваными краями ершили и ершили скучные серые гребни. Потом разъяснило, и в поздний вечерний час звезды упали в озеро.

Их еще много осталось там, наверху, но и тех, что покоились в черной недвижимой воде, никто бы не взялся пересчитать.

Звезды упали в озеро. По этому и еще по тому, что пожелтели луговые тропинки, стало ясно, что лето преломилось.

ЗНАКИ ОСЕНИ

К полудню стало совсем жарко. Заленились стрекотать кузнечики, куры забились в тень под крыльцо. Ласточки, кончив облет, притихли на ветках сухой березы.

Иван Васильевич пришел с поля и в сенцах, не отрываясь, выпил полный ковш ключевой воды. Я сказал:

— Жаркое нынче лето!

Иван Васильевич крикнул, утер губы, возразил немедленно:

— Жаркое, да не лето...

— Думаешь, осень пришла?

— Точно: знаки есть.

Я не стал расспрашивать про знаки, решил сам догадаться.

Вчера на краю овсяного поля собака моя нашла выводок тетеревов. Как они гремели крыльями, выбиваясь из овса! Заметил, что чернышши уже «в букетах» — сквозь серую цыплячью одежду пробиваются «взрослые» перья, черные с синим отливом. Примета? Осени знак? Пожалуй... Только не очень верный: бывает в ранних выводах и в конце июля петушки пером мешаются.

Малина отходит, брусника поспела, у клюквы щеки порозовели. Так и полагается — все в летнюю пору.

Молодые скворцы сбились в стаи, с шумом поднимаются и рассаживаются на проводах. Старые журавли водят молодых на горох. Утки в темно-зорьку вылетают на хлебные поля. Что ж? Пора птичьей молодежи как следует на крыло становиться — впереди неблизкий путь.

В кронах берез появились светлые пряди, падают золотистые монетки с лип. Рановато, но сушь-то какая была!

А что говорят цветы?

На межах и в клочках некоей голубеют пирамидки вероники, цветет плакун-трава. Почему ей такое имя дали? Ярко-красные горделивые кисти, и вот поди же — плакун. Над осочистой отавой поднялись призрачные зонтички веха и валерьяны. И все же это летники: зацвели не вчера и долго еще будут красоваться.

Из куста шиповника торчат синие цветы паслена, и тут же, на одном растеньице, и зеленые, и красные ягоды. Поди разберись, какая у паслена пора.

А что за розовый скромный цветок? Зубчатка-одонтелла! Вот это верный признак осени — летом ее не бывает. И рядом на потной луговине моя любимица генциана. Теперь мы часто будем с ней встречаться до глубокой осени, пока резкие утренники не убьют ее странные цветы, похожие на диковинные синие кристаллы.

Нашлись осенние знаки! Что ж, всему свое время. До свидания, лето. Ты хорошо нас приветило и теплом, и солнцем. Здравствуй, осень! С тебя другой спрос — стерпим, если нахмуришься и даже поплачешь, знаем, что умеешь быть и теплой, и нарядной не хуже лета.

ЛИСТОПАД

ЗАОСЕНЯЛО

Рассвело, а солнца нет...

Поднялся над озером густой молочный туман и закрыл все. Когда развеется? Шевельнулся ветерок, зазубрил кайму непроглядного облака и принялся его покачивать. На помощь туману потянулись с черной глади

плесов новые косматые полчища. Не ушел ветер, позвал на подмогу прибрежные ели... Принялись они острыми вершинами колотить, разматывать туманные пласты. Того и гляди солнцу дорогу пробьют, да не тут-то было, пришла туману с берега поддержка: потекли из овражков и низин белые холодные пряди. Пошел дождь холодный, с ветром. Заосеняло.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

На зорьке с песчаного мыса поднялись кроншнепы. Они забрались высоко, старики и четверо молодых. Они кружились в прохладном и безоблачном небе и смотрели вниз. Там раскинулись седые от росы луга. Среди лесов розовели озера. Одно из них, очень знакомое, сверху похожее на боб; рядом с ним в болоте, что кажется с высоты красноватым лугом, родное гнездо. Протяжно и грустно в длинный клюв, как во флейту, засвистела матка, остальные подхватили.

Так августовской ясной зорькой спели кроншнепы отлетную песню, кружась поднялись к самым облакам и пропали.

МОЛЧАЛИВЫЕ ЧИБИСЫ

Прошла к югу стая чибисов. Большая стая. Сверкая белым и черным, молча в прямом полете пронеслась над озером. Непохожи они сейчас на крикливых и вертлявых весенних чибисов — строже стали.

ЛОСИНАЯ ВЕСНА

Перед светом в болотной кромке, круто заложив рога на спину, сердито и протяжно охнул старый лось. В ответ тот же час затрубили другие.

Они трубили о том, что остыла вода в лесных озерах, что пожухли травы, что запестрели березы, что осинки выкинули красные флажки, что манят за собой пролет-

ные гуси; хочется бежать, ломать упругие кусты, рвать сильными ногами мох, звать кого-то, и все это значит, что пришла весна — их особая лосиная весна.

ОКЛЕВЕТАННЫЙ МЕСЯЦ

Сентябрь — месяц оклеветанный... Не говорят люди «замайнило», «заавгустело», «задекабрило», а «засентябрило» говорят. И тут полагается вспомнить плаксивое небо, туманную изморось, слякоть на дороге и надоедливый знобкий ветер. Неверно это! Клевета на хороший месяц.

Дождь, студёные вихри — со всяким месяцем такое случиться может, даже с январем, — разве что в сентябре почаще. Зато в какую еще пору могут стоять такие прозрачные и ласковые дни, как в сентябре?

После ненастья безоблачное небо, ясное, как умытое, солнце и там, наверху, такая голубизна, что, смотрясь в нее, лужи на пашне и узкое плесо речушки становятся похожими на осколки южного моря.

Быстро сохнет трава. Струятся по голубому нити паутины, неприметно опускаются, и вот уже весь луг заткан тончайшей серебряной пряжей. Ветер качает высокую отаву, и кажется она плывущей в медленном и печальном танце.

ОТКУДА ПЛАМЯ?

После крепкого утренника пламенем вспыхнули листовые леса. Бесшумный огонь захватил и густые рощи, и одинокие деревья на полях и опушках. Откуда пришло это пламя? Где так близко от корней нашла осинка багрянец, березка — золото, вяз — пурпур и синеву?

ЧАСЫ-ЖЕЛУДИ

Эти дни гостевало у нас бабье лето, теплое, тихое и нарядное. Загорелась лимонно-желтая заря и не могла показаться: сливалась с такими же вершинами деревьев, и до

позднего утра, пока не прорезались в листве голубые оконца, весь восток светился бледным золотом.

«Чок! Чок! Чок!» — целый день в тишине падают желуди.

«Чок! Чок! Чок!» — отстукивают они последние часы красивой осени.

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ

Ясные и очень тихие стояли дни. Ночью мигали звезды и стыла земля. Под утро стеной вставал туман и открывал солнце уже высоко над полем. В безветрии день за днем дремали деревья, разукрашенные, притихшие.

Тронешь в таком заколдованном лесу ветку — и, как зимой снежная навесь, обвалом посыплется легкие, светлые листики. Прилетит, покрутится сорока в полнолистной вершине... и — диво! — черная, простая птица роняет долу золотые перья.

ВЯЗЬЕ РАЗНОЦВЕТЬЕ

Хорош, очень хорош светло-золотистый осенний наряд липы! У березы он проще цветом, но ярче. Багряным убором долго хвастают рябины. Но самые нарядные — вязы. Рядом стоят они, раскинув широкие кроны. Рядом стоят, одинаково живут, вместе о зиме думать начали, только один почему-то весь желтый, другой пурпурный, третий коричневый, а дальше — посмотрите! — каких только нет: красные, лиловые, лимонные и даже совсем черные. Ни одна роща в эту пору не сравнится с вязьим разноцветьем.

ПЕСТРАЯ МЕТЕЛИЦА

В тишине скупно роняют листки деревья, но стоит только дохнуть ветру, как взлетит с березы желтое облачко, с клена розовое, с осины алое и загуляет, закружится пестрая метелица.

БАРСКАЯ СМОРОДИНА

В голом лесу заросль полнолистных кустиков. И ягоды сохранились, похожие на красную смородину. Только они безвкусные, без аромата и приятной кислинки. В народе зовут этот кустарник по вкусу — пресная, или, с легкой иронией, барская смородина. Летом ее трудно даже найти, а вот сейчас, когда одна осталась одетой среди облетевшего прутняка, кажется, что ее удивительно много.

ОТКРЫЛИСЬ ЛЕТНИЕ ТАЙНЫ

В оголенных вершинах трепещут последние листья. Прозрачно чернолесье, открылись в нем летние тайны. Птичьи гнезда, потемневшие, мокрые, скособочившиеся. Большая грубая площадка ястреба-тетеревятника, лохматая постройка сороки, ладно свитое гнездо зяблика, гладкая чашечка дрозда-белобровика — все на виду.

И У ВОРОБЬЯ ПИВО

Неуютный месяц октябрь — зябкий, мокрый, туманный, но сытный. На лугах приземистые, пузатые стога, засолены огурцы и капуста, наварены варенья, засыпаны в подвалы картошка и овощи. Неудивительно — в октябре, говорят, и у воробья пиво.

КОГДА ЗВЕНЯТ КОЛОКОЛЬЧИКИ

С детства полюбились колокольчики: полевые, луговые, лесные, много их, и все нарядные, нежные, похожие на малюсенькие голубые колокола. Только не звенят они. Никогда. Летом на сильном ветру раскачиваются — и не звенят. Молчаливые, красивые цветы.

Крепкий утренник припудрил траву. На меже среди лохматой некоей кустик цветущих колокольчиков. Они замерзли.

Подул ветер, и зазвенели колокольчики. Голубые венчики тоненько, чуть-чуть слышно, отзывались вет-

ру. Значит, звенят! Один раз в году, в пору глухого пред-зимья.

ХОЛОДНАЯ УЛЫБКА

Октябрь, осени серединка, службу несет двойную: службу тепла и холода. Октябрь месяц хмурый, туманами укрывается, сердится злым ветром, улыбается солнцем не часто, а если улыбнется — прозрачна и холодна улыбка, зовут ее утренником.

ПЕЧАТЬ УТРЕННИКА

Утренниками называют морозы, которые не держатся днем. Осеннее солнце возрождает цвет луга. Задолго до полудня согревается воздух, отходит земля, и только белый отпечаток кленового листа, перевернутого на дорожке ногой прохожего, напоминает о холодной зорьке.

НАЗЫВАЮТ ЕГО...

Поздно улетает от нас эта маленькая птица — держится, пока морозы не скуют грязевые болота. Смирная птичка. Упрется легавая собака, как в стеклянную стенку, стоит, дрожит, не идет вперед, посылай не посылай. Да куда ей идти? Приглядишься и... вот он! Лежит прямо под собачьей мордой в ямке, на грязи — сухой, золотистый, полосатый, как бурундук. Долгой нос вытянут, глаза не мигают.

По-немецки гаршнеп — волосяной кулик. Назван так за тоненькие, как волосы, наспинные перышки. Не простые, а радужные — отсвечивают и синим, и красным, и зеленым, как вода в ржавом окнище. В народе зовут гаршнепа «лежень» за то, что неохотно взлетает, или «подкопытень» — это уже за привычку прятаться в отпечатке копыта, там он вполне помещается. И еще зовут «заморозок»; из красной дичи самым последним улетает. Самым последним, при морозах.

ЛЕГКОЕ ПРОЩАНИЕ

Над одинокой березой, стоя за стаей, устало машут крыльями разноцветные лебеди: днем белые, на вечерней заре розовые или бледно-зеленые и совсем черные на незакатной стороне.

Грустно смотреть на отлет журавлей — это проводы лета. Когда среди снежных туч затрубят, объявляя встречу зимы, лебеди, на душе бывает радостно. Осень — не лето, с ней прощаться легче.

ПОСЛЕДНЕЕ И ПЕРВОЕ

Приходит вечер года, и кажется, что всё — проводы, всё последнее. Проводы тепла и птиц, последние цветы, последние листья. А не так. Скоро встреча с морозом, первый ледок хрустит на лужах — звонкий, пружинистый. Первые снежинки упадут, мягкие, ладные. Разве плохо?

ВСТРЕЧА

В сумерках на очень большом поле встретились осень и зима. На закатной стороне над березником среди туч открылся большой и теплый прогал ржавого цвета. Там светились капли на хвое и лениво журчала вода. Это была осень. На востоке зеленая лента перечеркнула кромку ельника. Она дышала холодом. На глазах росли ледяные палочки на лужах.

На опушку вышел лось. Он протянул горбоносую голову и звучно вздохнул. В широкие ноздри вместе с прохладным воздухом попала снежинка. Лось фыркнул — пришла зима...

БЕЛАЯ ТРОПА

СТУДЕННЫЙ ЦВЕТ

С вечера странно хрустела земля, и в сумерках на придорожных кустах начали расти холодные иголки.

Утром мир стал белым. Закрылись осенние дали, и лес, казалось, надвинулся на самую деревню. Всюду расцвел ослепительный иней.

Зябко. По узкой тропинке школьники провожают меня на охоту. Жаркими руками трогают они белые цветы, что распустились на кустах, и кричат: «Студеный цвет! Студеный цвет!»

СВОЯ ШУБА

Первый снег выпал, как всегда, нежданно. Жметя под деревом заяц-беляк. Он еще не «вышел» — уши, брюшко и лапки белые, спинка бурая. А тут кругом белизна. Дальше будет еще хуже: побелеет вся заячья одежда, а снег... стает. Трудно косому приспособливаться к погоде: шуба не покупная, своя — не скинешь.

От медленного снега, от тихих порош копилаь и копилаь на деревьях навись, и стал лес, как крепость. На старых вырубках и просеках в дуги согнулись и плетнем перевились березки, малютки елочки утонули в снегу — только шапочки видны. В сосновом молодняке и плечом не протиснешься. Глухо в лесу, глухо и снежно.

МОЛЧАЛИВЫЕ ФОНТАНЫ

После оттепели мороз. Закружавели деревья и кусты, даже снег под ними лохматится искристыми хлопьями. Так обильно заиндевели плакучие березы, что стали похожими на пышные фонтаны.

Неустанно и молча бьют они в голубое морозное небо.

МОРЕ СНЕЖНОЕ

Бушует снежное море... Белые волны ходят по полям, закручиваются, шипят, длинными струями выплескиваются на дороги и неумолчным прибоем рушатся на лесных опушках.

Есть у моряков свои, морские слова. Есть слова и для моря снежного. Скажет лесной человек: «Снег всякий

бывает. Посмотри, у опушки какие сугробы набило, рохлые, лыжи не держат. Поперек дороги надувы плетями лежат, полоз хватают, скрипят. Над оврагами сувои завилась, — не ходи туда, свалишься. В поле заструги, по ним в валенках пройти — и следа не будет, так крепки. В лесу кухта, навись...»

ЗВЕЗДАМ ХОЛОДНО

Спят леса, промерзшие, заиндевелые; лиственные в пуховых валенках, хвойные снежные шубы накинули. Утихли воды под ледяной крышей. К ночи разойдется стужа. Кажется, даже звездам холодно.

ГОЛОС ЗИМЫ

День ото дня слышнее голос зимы.

Всем знакомы его простые и суровые подголоски: треск древесных стволов, протяжный посвист льда на речках, шелест снежинок, скрип валенок, визг санного полоза и нежный перезвон льдинок в колодезном ведре. Но настоящий голос зимы — это вой пурги в ровном открытом поле.

Нет тогда дороги ни конному, ни пешему, и лучше переждать погоду дома: в тепле послушать голос зимы — злую песню выюги.

ДЕРЕВО ПОЕТ

Засыпаны толстой толщей земля, травы, деревья. Стоит на поляне ель-красавица. В пуховую шаль вернулась и... поет-звенит веселым птичьим голосом. Солнце слепит глаза, неисчислимыми блестками играет снежный полог, воздух свеж, самому петь хочется; но не может же петь дерево?

Подхожу поближе, осторожно хлопаю лыжной палкой по веткам, и вместе со снежным водопадом вылетает на простор стайка синичек-гаичек.

Придавлены тяжелыми пластами еловые лапы, а снизу открыты они птичьему глазу, и много там птичьей пищи — насекомых, личинок. Только кормиться приходится вверх ногами. Но это не беда, когда есть хочется.

ВЬЮЖНЫЙ ТАНЕЦ

Синяя-синяя туча покойно и грузно поднялась на западе. Вдохнул ветер, качнул деревья, вдохнул еще раз, сорвал снежную пыль с вершин и закружил ее в студеных струях. Вьюжный танец зашумел над озером; с каждым вздохом ветра все больше танцоров, теснее круг.

Трубно загудят сосновые макушки, ухнет с веток тяжелая навесь, забарабанит, падая, кухта.

Какие они разные танцоры — снежинки. Вверх! Вниз! Вверх! Вниз! — с легким шорохом, шепотком пляшут резные звездочки. Вверх! Вниз! Вверх! Вниз! — юрко и неустанно, не присядут отдохнуть на озерную гладь. Брякнут льдинки на ветках, по-цыгански взвизгнет поземка, змеей крутясь по насту, завихрится призрачное облако — это тоже снежинки, крохотные, ледяные иголочки.

Притомится ветер, приутихнет. Тогда, опускаясь в медленном и плавном вальсе, закружатся крупные хлопья. Здесь две за руки взялись, а там свой малый хоровод — несколько звездочек-снежинок, и среди них лениво проплывает одна очень крупная и пышная. Окружили озеро темные ели. Стоят, любятоя на вьюжные танцы, устало опустив руки в белых перчатках.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Если смотреть из окна вагона, скучен зимний вид: черное и белое, белое и черное. Темные ели, светлые поляны, серая кайма ивняка, белая чаша озера. Скучно!

А вы розовый ольшаник видели? Зеленый снег? Оранжевые елки? Лиловые осины? Их можно увидеть. Надо

только встать на лыжи и пойти туда, где из окна вагона казалось все черным и белым.

Можно идти в целик. Снег в затишьях такой рыхлый, что новой лыжней не страшно катиться с любой крутизны. Только надо зорко примечать, нет ли впереди обрывчика. Выдадут его светлая кромка и легкая голубая тень. Впрочем, и упасть в такую мягкость не беда; оботрешь лицо, откопаешь лыжи, снег из рукавиц вытряхнешь и дальше.

На полях, где ветрено, горки построже; приходится все время поглядывать, какой снег впереди, Блестящий, чешуйчатый помчит так, что в ушах засвистит, плотный белый схватит лыжи, как руками, а внизу синеватая сыпучая толща подастся и грузно нажмет на ноги.

Склонится солнце, подождет каемку закатного облака, и на высоком холме шапкой буйно зацветает плодовый сад. Розовые соцветья густо покрывают ветки. Так цветет миндаль. Откуда он здесь, в снежной тишине? Это покрытый инеем ольшаник украсили зоревые лучи. Чуть правее — оранжевые елки стоят вдоль опушки.

Если обернуться к полуночной стороне, увидишь зеленый снег и лиловые осины. Только голубое небо в этот час пропадает. Но и его можно увидеть, если подбежать к березе и взглянуть прямо вверх, вдоль ствола, сквозь кружево веток. Синее-синее небо — точно такое, как над горными ледниками.

ЛАРЫ

* * *

Сказано в старой энциклопедии: ЛАРЫ (греч., позже — латинск.) — добрые духи, заботятся о благополучии семейств и о здоровье детей, принимают участие в семейных радостях и горе. Стараюсь представить себе эти удивительные существа, похожие и непохожие на нас, людей. Неожиданно приходит мысль — это же наши собаки! Ростом поменьше человека, шерстистые, с горячей красной кровью и таким же сердцем и глазами, как у нас. Они так же чувствуют холод и тепло, боль и ласку, любят домашний уют и совершенно так же, до замирания сердца, радуются просторам полей, таинственности леса, мягкости травы и прохладе речной воды, и, конечно, запахам — в них они разбираются много лучше нас. Они совсем такие же, как мы, только ходят на четырех ногах — так им удобнее — и плохо говорят. Очень досадно и до слез больно бывает, когда понимаешь, что собаке надо рассказать что-то важное, а слов у нее нет.

Они узнают нас после разлуки даже через годы. Мои собаки вежливо встречают проходящих в дом и очень радуются, приветствуют, улыбаются во все зубы, когда приходит знакомый охотник. Они любят и понимают нас. Помню, как в большом горе женщина, рыдая, ткну-

лась головой в шелковую шерсть сеттера, а он, всегда бойкий, подвижный, лежал не шевелясь, пока хозяйка не успокоилась. Я был свидетелем, как долго, долго белогрудая лаечка ходила на могилу хозяина-охотника, погибшего на лесоповале.

Не может собака рассказать о своей беде. Может быть, поэтому я всегда ощущаю неловкость, чувство как бы вины перед живущим со мной четвероногим другом. А может быть, потому, что знаю, как несправедливы бывают к ним люди. Живут с нами славные лары-собаки, а отношения у нас с ними неравные. Не раз видел, как тоскует собака на пристани, когда отваливает пароход, увозя хозяина. Сколько брошенных бывших щенят бродят осенью и зимой вокруг пустых домов и помоек баз отдыха. А как страшно, когда у бережливого мужика живет нелюбый пес, купленный, чтобы караулить хозяйское добро. А тех, про кого буду дальше рассказывать, никто не обижал.

РОЖДЕНИЕ ГОНЧЕЙ

Каждый день, рано-рано утром, мы уходим с Шёлкой гулять. Первое время маленькая вставала с подстилки неохотно, долго потягивалась; отойдя от дома, оглядывалась — не вернуться ли на теплую постель. Теперь — много ли времени прошло? — повзрослела, вскакивает охотно, радуется безмерно, пегим чертиком прыгает по зеленой траве, нагнешься — в губы норовит лизнуть. «Гулять» — теперь понятное, веселое слово.

Имя моей собачки Шелонь — перенял от отца обычай называть выжловок* именами рек, — заранее знал, что

* Выжлец, выжловка — кобель и сука гончих собак на языке охотников.

в семье полное имя не удержится, переиначат обязательно, вот и получилось Шёлка. Привыкли все, и она отзывается. Даже подходит имя — шерсть-то у щенка *совсем* шелковая, мягкая.

На первых прогулках — с неделю — Шёлка не отходила ни на шаг, потом начала отбегать и вновь прилипла к ногам, как только мы приходили в лес. Еще через неделю и этот страх прошел, и начала моя спутница все чаще и чаще пропадать из глаз.

Надо ли говорить, как быстро проходят летние дни? Удивляться приходится: ну совсем недавно, кажется чуть не на той неделе, нашли первую спелую земляничку, а сегодня уже и черника поспела, и за ужином первый раз зажгли свет. Так все стремительно! И выжловка моя растет стремительно: не помещается уже на подстилке — ноги торчат, длиннющие, не может пробежать под стулом — надо нагибаться, мисочку алюминиевую *пришлось сменить* — купить вдвое бóльшую. По лесу скачет быстро, уходит далеко, но не теряется: постоянно слышу за спиной быстрый писк — Шёлка обгоняет меня и вновь пропадает. Часто слышу пискливое повизгивание; не сразу понял, что такое, потом определил: выжловочка отмечает каждый взлет, встречу с любой пичугой — пискнет и дальше скачет. На поле и по берегу с голосом гоняет жаворонков и куличков-перевозчиков. С тетеревами и рябчиками — дело другое: долго кружит на месте подъема выводка, влаивает, подняв голову, голос чуть грубее — не такой отчаянный цыплячий писк, как по мелким птичкам. Людей и коров встречает отрывистым грозным басом.

А зайцы? Зайцы? Неужели совсем не встречались? Нет, похоже, что было дело. Несколько раз слышался голос Шёлки, чуть другой и, главное, не на одном месте, а быстро продвигающийся. И еще. Раза два — правда, не

повезло: очень далеко — слышал какой-то незнакомый голос — может быть, и не Шёлка, чужая собака.

И заяц ей ни к чему — нужен его след. Да! Да! Судьба гончей — всю жизнь взволнованно и страстно мчаться с криком по следу, мечтать догнать и не догонять. В этом счастье. Редко, очень редко сганивают гончие. Догонит — и что же? — оказывается, это только заяц! Может быть, я неправильно, по-человечески сужу, по мне-то думается, что мечта всегда дороже.

Так день за днем, неделю за неделей гуляли мы с Шёлкой по лесу, все дальше и дальше. И какая это радость — наблюдать за молодой кровной собакой! Как она растет, крепнет, как проявляется чутье, прогулочный, ребячливый ход меняется на поиск, на деловой полаз, как волнуют щенка лесные встречи. Ей-богу, это не хуже самой охоты! И уже совершенно не стоит, нечестно вспоминать в это время разгрызенный любимый гребень жены и свои новые туфли.

Наступили дни встречи позднего лета с ранней осенью. Удивительные в своем разнообразии: провальные переходы от неожиданного ливневого студеного буйства к тишайшей кротости возвращенного лета.

Вчера мы с женой устроили Шёлке день рождения — решили отметить полгода со дня появления ее на свет — накормили любимой ухой из окуней и угостили конфеткой: Шёлка неистовая лакомка.

Это вечером, а с утра мы с ней, как всегда, — в лес.

В поле согрелись кузнечики и так зашумели, застрекотали, будто заклинания творят — упрашивают вернуть еще недавнее тепло. Оттаял примороженный к головке сивца шмель и устремился куда-то в тяжелом гудящем полете. Первые в это утро облака пытались вновь утвердить лето, принять обычную ватную округлость — не получилось: тревожными белесыми прядями разлохмати-

лись их края. И холодом веет просинь меж облаками, подчеркнутая летучей паутиной.

В лесу влажно и тихо, пожелтел папоротник орляк, рдеют ягоды ландыша, мягко подается под ногой зеленый мох ельника, расцветенный побрызгами палого листа.

Я расстегнул ошейник: «Стоять! Стоять!» Постояли мы с Шёлкой перед напуском, как полагается, и не одну минуту. Мне хорошо в торжественные минуты наброса, Шёлке трудно — ногами перебирает, на меня часто оглядывается: когда же кончится эта мука?

— Арря! Давай, Шёлка, давай!

В старом высокоствольном березняке поднялся я на высокий бугор над болотом. Папоротник чуть не до горла — земли не видно. И тут пискнула моя выжловочка, как бы в удивлении или от испуга, и запела взволнованно и горячо. Мимо меня, шурша и струйчато колебля резные верхушки папоротников, рядом прошел, прошмыгнул кто-то. Я не видел кто — заяц? лисица? Но Шёлкины белые бока промелькнули там, где слышалось шуршание.

Поет Шёлка, да, да, поет. Невозможно сказать: «Залаяла моя собака». Прямо оскорбительно и неверно.

Шел гон, яркий, без скола*, почти без перемолчек. Мчалась выжловка, не разбирая дороги, сквозь высокую траву, хлесткие прутья, через болотную грязь и подпорную воду — за ним, за ним, за убегающим, за тем, кто так маняще пахнет. И пела, кричала во весь голос, то победно чуть гнусаво трубя, когда настигала, то почти рыдая, когда зверь отростал** и надо было поскорее dospеть, то металлически звонко вскрикивая от радости и удивления, когда вновь попадала на потерянный след.

Шел гон, ровный, неумолчный, вначале по небольшому кругу под бугром, где я стоял, потом шире. Повела выжловка вторым кругом — голос полный, иногда под-

* Скол — гончая потеряла след зверя и перестала подавать голос.

** Отростал — удалялся.

дваивает, вышла на мох, заиграло эхо в болотных кромках и островах, будто не одна собака гонит, а две — или бог знает сколько — гремят в тишине лесов.

Сел на пень и слушаю, слушаю. Знаю окрестные места и мысленно следую за выжловкой: там широко разлилась от осенних дождей речушка, большое зеркало воды, прошлепает по нему зверь, обманет — нет, скололась, конечно, но справилась, гонит; а дальше дорога хоть и не сильно ежженная, трудно будет все же: перемолчка — и опять справилась; за дорогой чистый лес — тут хорошо, — и верно, ровный гон, а дальше — ох, не дай бог! — на склоне оврага столько ветровала после смерча, тяжело будет... Слушаю, слушаю и боюсь — стихнет, замрет голос, окончится гон. Так и есть! Замолчала, как оборвала, — все, конец, тишина. Со слуха не могла сойти: последний раз хорошо было слышно. Потеряла! Обидно, вот как обидно! Покачал я головой, как от боли, тихонько застонал... Нет! Не скол — перемолчка! Ярко дала голос. Снова радуется настойчивый голос Шёлки.

Возликовала душа моя — радость-то, радость какая: родилась новая гончая, свой выкормок, не пропали зря работа и любовь к смешному маленькому существу, принесенному в дом за пазухой. И сколько впереди у нас с Шёлкой совместного счастья — охотничьих дней!

Сошла выжловка со слуха, а я не трублю, не иду в ту сторону — не хочу мешать. Хожу по дорожке и слушаю, слушаю. Оказалось, не один. Пастух встретился, спрашивает: «Что это?» — так необычен голос не дворовой собаки, а кровной выжловки на горячем гону. Идут с грибов сестра моя с мужем, говорят: «Хорошо, что ты здесь, — мы беспокоились: шли мимо болота, там Шёлка лаяла очень странно, с ней что-то случилось?» Не охотники они — не понимают.

И мой друг, сосед по деревне, заядлый гончатник Володя, старый, больной, прошел сто шагов к полю от

крыльца, где он отдыхал после положенной двухсотметровой прогулки, и слушал, как выжловка с песней, без скола провела зайца через наши поля к озеру, вернула через лес, через пищугу у реки в болото и увела со слуха, а он все стоял и надеялся, что услышит еще; уверен я, уверен, что слезу уронит, может быть и не одну.

Гон стал угасать и стих недалеко от места подъема. Я сидел там на пеньке и не удивился, когда прибежала Шёлка, горячая, взволнованная. Поджав прутик-гон, шумно лакала воду из лужи. Еще раз посунулась куда-то в сторону, вернулась и вдруг забралась мне на колени. Я поцеловал ее в ровную белую проточину на рыжей голове, не согнал — ведь она еще маленькая, — сказал грубым, охотничьим, приказным голосом сейчас нелепое: «Стоять! Стоять!» Сидел тихо, гладил ее, смотрел, как собачонка, мурлыкнув, закрывает глаза, и думал: «Вот так, звонко и заметно, рождаются новые гончие».

«У НАС ТАК ПРИНЯТО»

— А скажите, пожалуйста, если перед собакой выскочат сразу два зайца, которого она погонит: правого или левого?

— Это очень опасный случай, — без улыбки отвечает Александр Александрович. — Если зайцы поднялись одновременно и на одинаковом расстоянии, горячая гончая может разорваться пополам!

Константин Николаевич, заметив, что его друг начинает раздражаться, сладко потянулся и сквозь не очень натуральный зевок пробасил:

— Спать пора, народы. Завтра еще до света поднимемся. Пойдем-ка, Саша, на погоду посмотрим.

Под фонарем, крутясь, поблескивала мельчайшая изморось. Влажный воздух был напоен сладковатым за-

пахом палых осиновых листьев. Услышав шаги охотников, в сарайчике заскулили собаки.

— Саша, не сердись, что они тебе такой допрос учинили. Я сказал, что цена подходит, привезу друга, сведущего человека, пусть послушает собак, как скажет, так и будет — куплю или не куплю. Вот и щупали, что, мол, за эксперт.

— Терпеть не могу собачьих барышников!

— Почему барышники? Народ неплохой. Охотники и гончатники заядлые. Ивану Ивановичу понадобилось крышу на доме перекрыть. Расход большой. А у меня так подошло: отпуск на весь ноябрь и премию дали.

— Я, Костя, не против, что собак покупаешь. Рад, что ты охотой увлекся. Сколько тебя, еще молодого, в охоту тягивал? Не получалось. Теперь Анна твоя говорит: «Костя каждый выходной в лесу». А торговлю собаками не люблю, в жизни ни одну не продал. Какая ни на есть — пусть живет. Если плохая — чаще всего сам охотник виноват.

— Смех был, когда я вас познакомил! Сели за стол и вроде обнюхиваться начали...

— Похоже. Тем более, один из них явно на собаку смахивает. Уши большие, лопушками, губы толстые, спереди сжатые, а сбоку посмотреть — зубы видны, как скалятся.

— Это Илья Андреевич.

— Второй — маленький, унылый, носик пуговкой, глазки мышинные.

— Это Иван Иванович.

— Он меня больше всего допекал. И всё свое: «У нас так принято. Говорите так, а у нас иначе... И это не по-нашему!» Вроде намек — не суйся в наши дела.

Детским голосом пропела электричка и, притормаживая, простучала колесами за забором. На светлом экране окна появилась тень человека с ружьем.

— Еще охотники подвалили. Надо завтра встать пораньше и отойти подальше.

Константин Николаевич зябко повел плечами:

— Холодно становится, пойдем в дом!

Вышли рано. Иван Иванович не преминул заметить:

— У нас так принято: света нет, а мы в лесу! Не то что городские егеря — до полдня спят.

Только после часа ходьбы настолько посветлело, что Александр Александрович мог разглядеть собак. Выжлец ладный, с хорошей костью, одет нарядно. Только морда совсем седая, глаза поголубели; наверно, и зубов мало осталось. Выжловка молодая. Прекрасная голова: сухая, в хорошем русском типе. Чистые ноги. Жидковата немного. Это ничего, после щенков раздастся...

Первого зайца взяли почти без гона. Смычок* дружно помкнул** — далеко впереди заяц с подъема пошел прямо на цепь охотников. Александр Александрович видел, как его друг, видимо издавек заметив зайца, приготовился и неподвижно стоял, ожидая. «Научился, знает, что, чуть пошевелись, сучком тресни, кинется заяц в сторону за кусты да кочки, только его и видели».

Глухо хлопнул выстрел.

— Саша! Слышал, какие голоса у собак? И заяц недолго жил.

— Очень жалко, что недолго, — гона не послушали. Ладно, кричи: «Дошел!»

— Дошел! Дошел!

— Да не так, надо протяжно. В лесу слов не понять: «дошел», «пошел»... Надо называть собак резко, отрывисто, а «дошел» кричать протяжно.

* Смычок — пара гончих.

** Помкнуть (по-зрячему) — погнать, заметив глазами, а не только носом след.

— Доше-е-л! Доше-е-л!

Солнце перевалило за полдень, когда в заболоченном лиственном лесу гончие столкнули второго зайца и горячо погнали. Александр Александрович поднялся на бугорок у фундамента старого хутора.

Днепр отдавал басистый голос скуповато и мерно: «Ах! Ах!» Висла лила и лила голос взახлеб, как непрерывную ноту, примолкая только на сколах.

Гон шел небольшими и правильными кругами по низине, где остались охотники. Удивительно было, что заяц, петляя, не наскочил еще на стрелков... Видимо, там очень плотное место: кусты, кочки, тростник.

Гончие скололись. Белоштаннный зайчишка резко выкатился из тальника, пробежал полем, вернулся своим следом — сдвоил, прыгнул в сторону — скинулся и опять исчез.

Александр Александрович внимательно наблюдал.

Вот показалась Висла. Пересекла заячий след, вернулась по кромке кустов, где беляк скинулся, и молча побежала дальше. Что же это такое? Заяц был тут, след парной, а она даже не задержалась на нем, голоса не отдала. Вот скачет Днепр. Интересно, что этот покажет? Может быть, заяц мне почудился?..

Ай да старик! Не дошел до следа шагов пять-шесть, свернул по ходу зайца и погнал полным голосом. Тотчас в стороне залилась, пошла наперерез Висла. Так вот в чем дело! Похоже, что у нее совсем нет чутья. Бывает такое, чаще всего после чумы. Теперь она гонит на веру, по голосу Днепра. Какой же это смычок? Что с ним будет через год, когда Днепр сядет на ноги*? Кто будет гонять? Бесчутая Висла?

* Сядет на ноги — так охотники говорят о собаке с поврежденными ногами или при сильной усталости.

Александр Александрович пошел на удаляющийся гон. Заяц покружился на дальних вырубках и опять вернулся.

«Странный случай, очень странный. Допустить, что хозяева ничего не знают? Не может быть, охотники они дельные. Что же тогда?»

Александр Александрович задумчиво бродил по чавкающим и путаным тропинкам.

Встреча с Иваном Ивановичем произошла неожиданно. Охотники шли навстречу по узенькой дорожке, повернув головы в сторону недалекого гона, и сошлись грудь в грудь.

— Висла давно чумилась? — без всякого вступления спросил Александр Александрович.

— Давно.

— Тяжелая была чума?

— Очень.

Уходя, Иван Иванович обернулся, поднял скорбные совиные брови, наморщил пуговку носа и внимательно посмотрел вслед Александру Александровичу.

Большое и неяркое солнце перевалило на закатную сторону, когда Александр Александрович вернулся на полянку у старого хутора.

Гон приблизился. Беляк показался на соседнем холме и спустился по дороге в овражек. Ясно, что сейчас прискачет прямо к ногам. Ага! Ладно, устроим сейчас маленькое представление.

Рискованно, конечно, если промахнешься и заяц уйдет, — такого от охотников наслушаешься, всю жизнь не забудешь.

Александр Александрович перевел предохранитель и поднял ружье к плечу.

Показались заячьи уши, потом и он сам. Ближе и ближе. Место совершенно чистое, ружье надежное. Слыш-

но, как стучит кровь в ушах, как шуршат по траве заячьи лапы.

Заяц сел рядом с недвижимым охотником и, поводя отороченными белой шерсткой ушами, слушал гон.

Александр Александрович улыбнулся: «Фотографа бы сюда», погасил улыбку и закричал громко и протяжно:

— Доше-е-л! Доше-е-л!

Беляк прыгнул, как подброшенный пружиной, и, частая длиннющими ногами, стал набирать ход. Десять, двадцать, сорок шагов... Не отрывая щеки от приклада, Александр Александрович еще раз, как можно спокойней закричал: «Доше-е-л!» — и плавно нажал на спуск...

На бугор поднялись охотники. Они молча смотрели, как Александр Александрович потрошил заячью тушку, укрепив ее в развилине березки.

Первым не выдержал Иван Иванович:

— Скажите, пожалуйста, как это получилось, что вы сначала несколько раз крикнули «Дошел», а потом стреляли?

Александр Александрович вынул из рюкзака полиэтиленовый мешок, опустил в него тушку и спокойно ответил:

— У нас так принято! Я сначала крикнул, а потом стрелял. Заяц шел по-чистому, дело верное, я и поторопился крикнуть, чтобы вы зря в болоте не стояли...

Домой шли в сумерках. Илья Андреевич вел смычок.

Собаки нажгли ноги, натягивали поводок, не хотели идти через дорожные лужи. Александр Александрович, устало хлюпая по вязкой грязи, услышал позади себя:

— Мы подумали, Константин Николаевич, пораскинули так и сяк. Нет, не подходят вам эти собаки. Вам на годы надо, а Днепр староват, к Висле другого в пару подобрать трудно...

Федор Иванович рано утром ушел в соседнюю деревню, по просьбе сестры подкрепить стропила. Ей шифер привезли; будут крыть прямо по дранке.

После обеда — обед у нас в деревне рано, не как в городе, — Федшиха вышла за околицу. Заслонясь от солнца ладонью, настойчиво и терпеливо смотрела вдаль, на тот кусок дороги, что идет по полевому бугру и виден из деревни. Ответила мне:

— Доброе утро! Федора жду. В Красной Горе, в помощи. Обязательно угостится.

Рост у Федшихи богатырский, кость широкая, ноги под стать — когда ходит босиком, то будто в новых больших лаптях. Сейчас с ладонью у бровей похожа на былинного богатыря в известной картине Виктора Васнецова.

В противоположность Федшихе ее муж низкоросл, беден костью, и только сильно лысеющая голова, посаженная прямо на плечи, удивляет размерами. Лицо располагающее, приветливое, с добрыми карими глазами. К жизни Федор Иванович относится горячо, заинтересованно, отсюда, очевидно, и любимая приговорочка: «Ужасное дело».

Живут супруги хорошо, согласно. В одном расходятся — в деликатном вопросе о водке. Федор считает вино бесспорным благом, данным от природы, от Бога, таким, как хлеб, вода, молоко, мясо и прочие натуральные продукты. Естественно, чем их больше — тем лучше. Приятелям говорит: «Не пить — зачем жить». Справедливости ради надо сказать, что ума он не пропивает, работает много, толково, хозяйство держит в порядке. Что касается меры, то знает ее плохо. Частенько, приняв хмельное, после громких песен и разговоров засыпает за столом, а если случится крепко выпить в соседней деревне, не-

пременно идет домой. Не рассчитав силы, отдыхает по дороге, прикинув, как и полагается русскому человеку, к матери-земле, даже если она по сезону укрыта снегом.

Федшиха решительно не согласна с таким порядком, предотвратить не может, или не считает себя вправе, но зорко следит за последствиями. Если Федор долго не приходит из соседней деревни, выпрашивает лошадь, запрягает и едет навстречу. Обнаружив супруга, почивающего на обочине, легко грузит его на телегу на предусмотрительно прихваченное из конюшни сено и привозит домой.

К концу дня я вышел за околицу подышать полем и послушать вечер. Солнце еще не село. Некошенные луга удивляли и радовали красками цветущего разнотравья. Белые, синие, красные, желтые головки светились поодиночке и островками. Аромат луга усиливался, густел в неподвижности и прохладе вечера. Можно стать на колени, склонить голову к пологу травы и дышать, как пить, благоуханный воздух.

В тишине сутемок только скрипучий голос коростеля: «кржек! кржек! кржек!» И был он как колотушка ночного сторожа, что в давние годы покоила сон деревни и по-смешному отпугивала злого человека.

По дороге навстречу — Федор Иванович. Лицом светел. Без шапки, ворот расстегнут, на брюках и пиджаке следы неоднократного отдыха на глинистой обочине. В руках веревка, веревку тянет небольшая лохматая собачонка. Рыженькая, одно ухо вверх, другое вниз, глаза как черные пуговицы. Собачка ведет посередине дороги. Сложнее путь у Федора Ивановича. Увидел меня, обрадовался, резко присел на траву и сразу:

— Леня! Погляди, пожалуйста, ты охотник, понимаешь. Собака ужасной породы и рыжая. Мне рыжие ко двору: корова, куры вроде и кот окончательно рыжий. Черных терпеть ненавижу! Видишь ее?

— Вижу.

— Сколько лет мечтал завести собаку, все никак не получалось. Тут подстатило. Сестре зять из города привез. Ей ни к чему. «Отдай, ради бога». Уговорил, отдала. Признала меня, видел, в новый дом так и тащит, так и тащит.

Я помог Федору Ивановичу закурить, одобрил собачонку — приятная, глаз веселый.

Обрадовал приятеля. Он склонился ко мне рывком, заявил значительно:

— Собака — друг человека. Бусок охотничьей породы — они не кусаются. Ни в жисть! И правильно, не имеют полного права... человека. В лагерях фашисты держали овчарок, большие, как телята. На людей травили. Ужасное дело! Эта не такая. Бусок! Бусок! Иди ко мне. Ну, подь сюда! Видишь? Все понимает. Ласковый, его по спинке рукой подрачишь, он и вовсе вверх брюхом. А строгий. Такие, если кто в пустую квартиру зайдет, пустить пустят, выйти никак — р-р-ры! Жди, пока хозяева придут. Вот я и с собакой.

Федор Иванович счастливо и глубоко вздохнул, уронил папиросу в мокрую траву, достал новую, долго закуривал, хитро прищурил глаза и понизил голос:

— Ты в кладовке у меня ружье видел?

— Видел.

— У братана мне подарено, давно. Сколь лет висит без последствий. Я охотник. Ей-богу! Отец еще на полевииков, на зайцев учил, и по белке ходили. Почему не занимался? Со-о-баки не было! Вот! Теперь пойми, с такой собакой все утки мои и зайцы мои...

— Жена не заругает?

— Мария? Что ты! Я поясню — дом караулить надо? Надо. На питание всего ничего. Сестра сказала, ест мало — хлеба корку да молока плеснешь, как коту, в блюдечко.

Собачонка заскулила, завертела хвостом. Федор Иванович встал, пристрожил собаку:

— Ты хвостом не вили, не вили хвостом. Скажи прямо: «Пора домой, припозднились мы, да еще выпивши». Ужасное дело! Пошли.

Утром я встретил Федора Ивановича в поле. Он шел поглядеть, не пора ли косить, хоть там, где повыше трава. Приятель мой чистенький, в новой рубашке с непомерно высоким воротом, на пиджаке ни пятнышка, на голове взамен временно утраченной — парадная шляпа из соломки, широкополая, как у артистов кубинского ансамбля.

— Здорово, Леня!

— Здорово! Как Бусок?

— Выпустил его, раненько еще. Ушел... Ужасное дело! Ну ты суди, зачем мне собака?

УБИВЕЦ

Отец умер. Пережили трудно. Жизнь продолжалась. Дома все как было. Мама уходила рано в больницу. Коля — в институт. Обедали вместе. Мама мыла посуду, Коля шел во двор разметать снег, чистить вольеру, кормить отцовских собак — смычок англорусов: Бубен и Флейта. На охоту Коля перестал ездить. Стали заходить знакомые охотники — торговали собак. Мама отказывала: «Пусть живут, муж их любил». С кормежкой просто было: каждый день из соседней столовой уборщица приносила ведро остатков.

Год прошел. За несколько дней до открытия охоты навестил Сергей Иванович, друг отца, полковник, страстный охотник. Говорил, что охотничьим собакам невозможно не работать, не бывать в лесу. И Коле бы

полезно отдохнуть, вспомнить, что на свете есть такое прекрасное и завлекательное дело, как охота.

Мать не возражала. Коля согласился.

Сергей Иванович вел машину уверенно, на большой скорости. Не оборачиваясь к заднему сиденью, где расположился Коля с собаками, рассказывал:

— База хорошая, егерь человек неприятный, утрюмый, себе на уме. Живет барином: корова, овцы, поросенок, куры, гуси. Лошадь казенная — по нашему времени — богатство: огород соседке вспахал или проехал — пол-литра, дров привез кому — того больше. Куркуль, чистый куркуль. На охоту не сопровождает, будто ноги болят. Начальство его терпит, держит: молодые-то в егеря не идут — не престижно. Ему, егерю, служба нужна, чтобы к хозяйству не придирались, а на охотников ему... с высокого дерева. И все равно, — продолжал Сергей Иванович, — уверен, есть круг знакомых охотников, выгодных, тех — и сопровождает, и в багажник картошки положит, свининки. Живет как бог: все у него свое — и молоко, и грибок, и капуста квашеная, и жена молодая! — Тут Сергей Иванович рассмеялся и вдруг сердито добавил: — Вообще эти так называемые охотбазы — сплошное недоразумение, и понятно почему. Рассчитаны они на сотни, может быть, на тысячи — охотников у нас много больше. Ездят туда в первую очередь знакомые или важные, нужные. В результате — великое пьянство и развращение егерей. Каждый с бутылкой, угощает, настаивает. Тут и святой сопьется. Егеря не знают, что делается в лесу, сколько у них выводков. Некогда им ходить, да и не хочется. А базовские казенные собаки? Хорошо, если живы и не больны. И все равно — гончие не гонят, а легавые гоняют самозабвенно. И егерей нельзя винить. К примеру, в нашей путевке написано «с сопровождением», а егерь — пусть и зря ссылается на ноги — с базы уйти не может: жена ра-

ботаает, приедут люди — им и двери открытъ некому. И не поехал бы я сюда, да был с легавой по дупелям, другой раз по вальдшнепам — и каждый раз поднимал несколько зайцев. Много их здесь, прямо сила!

Коля слушал, молчал.

Машина свернула с проселка на грязную деревенскую дорогу и остановилась у большого, обшитого вагонкой и крытого шифером дома. За высоким дощатым забором лаяли собаки. От калитки к крыльцу шла вымощенная кирпичом дорожка.

Дверь открыл освещенный сзади, невидимый лицом, большой — прямо великан — человек. Не поздоровался, взял у Коли из рук поводок смычка, сказал: «Пойдемте, собак устроим, — и Сергею Ивановичу: — Проходите в прихожую». За ситцевой перегородкой в кухне злобно рычала собака, скорее всего немецкая овчарка. Кто-то ее там держал, успокаивал.

Егерь проводил Колю через застекленную, чисто вымытую веранду во двор. Вдоль забора три вольеры с дощатыми полами и утепленными будками. Средняя свободна. Там и заперли смычок. С одной стороны потянулась нюхаться через сетку породная почти чисто-багряная со светлыми подласинами выжловка, с другой — ворчал, не подходя к сетке, крупный трехколерный сеттер.

— Свои? — спросил Коля.

— Казенные.

Бубен и Флейта еще не успокоились, прыгали на сетчатую дверку. Егерь задержался у вольеры, смотрел внимательно, сказал:

— Красивые собаки, по типу скорее всего от Чаусовских, у него такие крупные пегие были. Работают? Тела многовато.

Коля с удовольствием похвастался:

— Два диплома первой — в смычке. В одиночку у Флейты первый, у Бубна — второй и третий.

Про тело ничего не сказал. Конечно, засиделись собаки, но не хотелось рассказывать про семейное.

В приезжей шесть аккуратно заправленных кроватей, у каждой тумбочка и стул. Общий стол, на нем графин с водой, стаканы и накрытый дорожкой старенький радиоприемник. На стенах плакаты: «Берегите лес», «Профили хищных птиц» и «Правила безопасности на охоте». «Правила» подкреплены жуткими примерами: в облаках ружейного дыма валяются обильно окровавленные охотники.

Сергей Иванович уже разобрал рюкзак и вынимал из обитых бархатом отсеков деревянного полированного ящика части ружья в замшевых чехлах. Каких только приспособлений не было в ящике: шомпола — разборный длинный и особый короткий, щетки, протирочки, пузырьки со смазками. Коле неловко стало, как вспомнил свою давно не чищенную ижевку. Попросил посмотреть ружье. Сергей Иванович согласился охотно, собрал, протянул Коле редкостный бокфлинт Лебо двадцатого калибра в прекрасном состоянии: «Представь, купил недавно, послевоенный, малострелянный, практически новый».

Позвали к ужину. Сергей Иванович вытащил из кармана рюкзака флягу, захватил два мешочка: один с тем, что нужно на холод, другой с закуской — и пошел к столу. У Коли были спеченные мамой в дорогу пирожки с капустой.

В первой комнате накрыт стол. Клетчатая скатерть предусмотрительно забрана пластикатовой пленкой. В мисочках квашеная капуста и соленые грибы, на деревянной тарелке нарезанный хлеб домашней выпечки. Против каждого из трех приборов — пустая стопка.

Егерь вышел из кухни, жестом пригласил садиться. Хозяйка принесла блюдо горячей картошки, сваренной в мундире, и, не задерживаясь, ушла. Коля успел заме-

тить снежно-белые, не седые, волосы, лежащие на плечах, и, несмотря на высокий рост, складную фигуру. Заметил еще, что она много моложе мужа.

Егерь сказал:

— Ешьте, пожалуйста, — показал рукой на кухню, — я уже.

От коньяка не отказался, выпил стопку и решительно отставил ее в сторону:

— Нельзя — ноги.

При ярком свете подвешенной к потолку лампы Коля с интересом, но украдкой разглядывал собеседника, если так можно назвать упорно молчавшего человека. Тяжелая округлая голова, широченные плечи, огромный рост. Пепельные густые волосы, окладистая борода, черная с седым подседом. Коля от отца слышал, что характер человека лучше всего угадывается по глазам и рту. Рот был почти не виден в волосяной заросли; глаза печальные, строгие, и только морщины-лучики в уголках показывали, что они когда-то смеялись. Надеть бы на этого человека круглую барашковую шапку — получился бы Ермак Тимофеевич.

Егерь не закусил, робко, как бы смущаясь, вынул из одного кармана деревянный ящичек-табакерку, из другого — аккуратно сложенный темно-красный платок. Постучал пальцем по крышечке, поставил левую кисть ребром, поднял на ней большой палец и в образовавшуюся у корня лунку насыпал щепотку темного порошка, зажал одну ноздрю, приложил нос к лунке, резко втянул воздух. Ту же операцию проделал с другой ноздрей. Из глаза его капнула слеза, он встал, отошел в сторону и, приложив к лицу красный платок, два раза с видимым удовольствием чихнул. Сказал: «Извиняюсь» — и вернулся к столу. Заметив удивленные взгляды охотников, развел руками:

— Так мои деды-кержаки Бога обманывали. Табакурство по их старой вере запрещалось, а нюхать — вроде

и не курить. Баловались нюхательным табачком. Через отца и мне привычка.

Сергей Иванович, красный, добрый после двух стопок, расспрашивал:

— Какое удовольствие? Что за табак? Дайте-ка посмотреть табакерку.

Егерь отвечал:

— Табак особый, обязательно с мятой, мелкий, сильно растертый, не сырой и не слишком сухой. Удовольствие? Вроде как от курева, главное, конечно, привычка.

Коля отказался от третьей стопки, налег на картошку с солеными, обильно политыми сметаной волнушками. Ему было очень хорошо в непривычной, точнее, забытой им деревенской обстановке, в компании с охотниками. Интересен, почти загадочен был егерь. Приятен Сергей Иванович. От отца еще слышал, что он дельный и страстный охотник. И верно, как поглядеть — все у него предусмотрено, все ладно да складно. Даже к столу он вынес не обычные в поездках сыры да консервы, привез пирожки с рисом и красной рыбой, охотничьи сосиски, холодную буженину, даже хлеб какой-то особый, кисло-сладкий, и в футлярчике раскладные вилка и ножик, и коньячная фляга обшита сукном, и пробка у нее — та же рюмочка.

Сидел Сергей Иванович за столом в нарядном новом свитере и привезенных из дома теплых туфлях из оленьего камуса. Чуть седоватый, красивый, представительный.

Правда, Коля вспомнил, что отец говаривал: «Три вещи не употребляют охотники: охотничьи топорики, охотничьи сосиски и охотничью водку».

Тревожило Колю, что Сергей Иванович пьет стопку за стопкой. Старался отвлечь его разговором о собаках, об охоте. Егерь молчал по-прежнему и, только когда дело дошло до того, куда завтра идти, вступил в разговор:

— Мой совет: как выйдете из деревни на проселок, направляйтесь направо, в сойкинские мелоча, или прямо через поле на старые покосы. Заяц там есть, и он местовой — там и гон пойдет. Налево не ходите. Ни в коем случае!

— Что там? — поинтересовался Сергей Иванович. — Болото?

— Нет, места сухие, отъемистые и для гона удобные: перемычки, дорожки, просеки, но нельзя — там убивец.

— Что? Что? — в один голос воскликнули охотники.

— Убивец, — четко и значительно повторил егерь и нахмурился.

— Какой убивец? Убийца? Кого?

— Да. Видите ли, налево, сразу после сосновой гривы, низина, в ней живет русак. Не много у нас их, больше беляки, — этот живет.

— Ну и что? — раскатисто рассмеялся Сергей Иванович. — Прекрасно, собаки надежные, давно мечтаю погонять русачка.

— Нельзя, — досадливо настаивал егерь, — собак погубите.

— Ничего не понимаю. А ты, Коля?

— Пока неясно.

— Хорошо, скажу. А вы хотите верьте, хотите нет. Этот русак под гоном ходит в полях между нашей деревней и Красницами. Если собаки липкие, сказать, вязкие, надоедят ему, тогда правит напрямиком на железную дорогу и дует по ней долго. Поезда у нас часто, он-то соскочит, собаки могут попасть. В прошлую осень у приезжих выжловка-эстонка погибла, через две недели — смычок русских, обе собаки: выжлеца пополам, выжловке две ноги; хозяин пристрелил. И так не первый год.

— Уж непременно и пойдет, — усомнился Сергей Иванович. — Пугаете вы нас, Федор Федорович.

— Как хотите — дело ваше.

Захрипели настенные часы, из дверцы вышла и звонко определила час кукушка. Федор Федорович — теперь Коля знал, как зовут егеря, — принес из кухни самовар. Хозяйка убрала со стола, принесла очень чистые стаканы с блюдечками и сахарницу, ушла в спальню. За ней из кухни, мягко ступая, мимо стола прошла крупная породная лайка, вежливо поерзала по спине круто завитым калачиком хвоста, приподняла губу, когда Коля протянул руку погладить.

Сергей Иванович, распаренный, хмельной, был в благодушном настроении, спросил, чуть растягивая слова:

— Федор Федорович, а вы на охоту ходите?

— Нет. Молодым много занимался. Я ведь из Сибири. Месяцами по тайге ружьишко таскал. Здесь остался — отошел.

— Почему?

— И там-то зверя и птицы год от году меньше. Здесь совсем бедно, пустые леса. Бьешь, думаешь — не последний ли? — жалко. И ноги все хуже и хуже.

— Что с ногами? Ревматизм?

— Осколком под Нарвой: одним — обе. Питание кровью нарушено; так вроде кости и мясо на месте — ходить не пускают, больно.

— Зачем же лайку держите?

— Приблудная она. Приезжие в лесу нечаянно ранили и бросили. Приползла через три дня на двор. Жена выходила. Так и живет. Спать пойдете?

— Рано еще. У вас какой-нибудь музыки нет? Кажется, в приезжей патефон?

— Ломаный: пружину перекрутили. И пластинки все царапаны: выпьют и ставят как попало. Сейчас я свой проигрыватель... Пейте чай, сами наливайте.

Коле было хорошо. «И как я мог так долго не ездить на охоту? Завтра набросим смычок, послушаем гон, уви-

дим зайцев. Только бы не промахнуться! И если возьму, привезу домой — мама будет довольна. Давно в нашем доме дичины не было. Федор Федорович интересный тип. Верно ли говорит Сергей Иванович, что хапуга, куркуль и на охоту наплевать? Впрочем, он больше знает, часто бывает на базах. А собаки в вольере ухоженные, чистые, здоровые, сытые».

Егерь принес проигрыватель, перебрал несколько пластинок, поставил. Удивительный и знакомый голос наполнил, как залил, комнату: «На нивы желтые нисходит тишина. В остывшем воздухе от меркнувших селений дрожа несется звон...» Кажется, Чайковский?.. «Душа моя полна разлукою с тобой и горьких сожалений».

«Как это может быть? Как получается, что в одной певучей фразе, даже в одной ноте — и тоска прямо нечеловеческая, и ликование?» Коля вторил про себя и слова и мотив, и казалось ему, что это про него, про его жизнь. «...Но что внутри себя я затаил сурово». Комок подкатил к горлу.

Рычачок со стуком подскочил, музыка смолкла. «Жалко. Попросить поставить еще раз?»

Сергей Иванович слушал плохо. Сказал:

— Пригласите хозяйку, пусть посидит с нами. Считает ниже достоинства? Пренебрегает?

Федор Федорович ответил вполголоса:

— Спит она, завтра на ферму, рано...

Подошел к часам с кукушкой и потянул цепочку. Сергей Иванович пожал плечами, встал, чуть пошатнулся и пошел к выходной двери. Егерь проводил.

Трудно было угадать, будет ли в этот день солнце или оно, скрытое в густейшем утреннем тумане, останется за хмарью осеннего короткого дня. Но солнце показалось, сначала белесым неясным кругом, потом, расталкивая и угоняя тучи, воссияло на чистом бледно-голубом небе.

Сергей Иванович, высокий, сухощавый, но с небольшим брюшком, вышагивал впереди. За ним Коля с трудом сдерживал засидевшихся, крепко тянущих собак. И опять он с удовольствием и легкой завистью посматривал на своего спутника и руководителя: «Перекидывает ружье с плеча на руку — бокфлинт Лебо без антапок*, — пижонит или не успел отдать приделать? Под легкой, с расстегнутой молнией непромокайкой — жилет-патронташ. На голове по заказу сшитая защитного цвета шапка с длинным козырьком и металлическим значком на тулье — поющий глухарь. На ногах высокие, подвернутые под коленями сапоги с ярко-желтыми головками. Сказал: «Ношу только японские, наши дубовые, тяжелые, и подъем на жабью лапу, даже с тонкой портянкой нога не лезет».

Сергей Иванович вышел на проселок, оглянулся на деревню и круто повернул налево.

— Пойдите, — остановил его Коля, — егеря сказал налево не ходить.

Сергей Иванович подмигнул, махнул рукой в левую сторону, пояснил:

— Дураков нет. Куда егеря говорят нельзя — там и заяц. Дело известное — берегут для дружков. Идем, идем! Меня на таком деле не проведешь — стреляный воробей.

Коле и неприятно стало, и подумалось: «Может быть, он и прав?»

В высокоствольном сосняке сошли на тропку. Как хорошо, замечательно хорошо в лесу в ясное утро предзимья. Ноги в толстых шерстяных носках и новых резиновых сапогах смело разгребают воду в редких на песчаной дороге лужах, мягко ступают по ковру старой хвои. Тепло, даже жарко в туго подпоясанном патронташем ватнике и непривычной еще теплой шапке.

* Антапки — скобки на стволе ружья для крепления погона (ремня).

Запах земли! Земли — не городской, придавленной камнем, — открытой, и не летней, обильно расточающей ароматы цветов и живой зелени. Нет, осенний, тонкий запах земли, испуганной ночными холодами. Воздух напоен влагой и запахами хвои, древесного тлена и грибной прели. Хочется вдохнуть глубоко-глубоко и задержать выдох, как глоток ключевой воды.

Звуки земли: шорох шагов, шелест хвойных веток, стукоток дятла, уютное попискивание синиц, — все негромкое, приглушенное, как ватой обернутое.

Краски земли: темная зелень сосновых вершин, масляная желтизна стройных стволов, блеклое золото палых листьев, четкая графика безлистных берез в прозрачности и голубизне неба.

Все это щедро дарит лес тому, кто пришел к нему не гулять равнодушно, а с каким-нибудь делом, пусть погородски и не очень важным, но близким лесной жизни.

Как хорошо! Коля решил, что теперь будет ездить на охоту каждую субботу, ни одной не пропустит до глубокого снега. Нетерпеливо отстегнул ошейники: «Арря-арря! Полазь, собаченьки!»

Смычок кинулся в полаз резвыми ногами и скрылся из глаз. Охотники зарядили ружья и, не горячо порская*, пошли тропиной. И не долго шли. Видимо, наскочили собаки прямо на лежку. Сергей Иванович побежал на голоса; Коля остался на дорожке, снял с плеча ружье, ткнул предохранитель. Яркая помычка** сменилась ровным, уверенным гоном. Заяц шел малым кругом. Коля стоял, слушал.

«Отец назвал щенков Бубен и Флейта. Как угадать, какие будут голоса у взрослых? Назовут щенка Свирелью, вырастет, окажется у нее чуть не башур-бас. У отца полу-

* Порская — покрикивая.

** Помычка — подъем зверя.

чилося, и все же не точно. Выжлец равномерно, неторопко отдает громкий доносчивый голос: „Ба-у-у! Ба-у-у!“ — с оттяжкой, будто бьет колотушкой в большой гулкий барабан. Флейта частит, но не посвистывает, как полагалось бы по кличке, нет, гораздо ниже, похоже на фагот».

Гон приближался. Коля уже посматривал понизу влево-вправо, как грохнул выстрел неподалеку. «До-ше-ел! До-ше-ел!» Смычок доганивал, смолк. Сергей Иванович, довольный, веселый, вынес на тропину прибылого голубоспинного беляка, посмотрел на часы: двадцать две минуты — нормально. Почин дороже денег.

Зайца держал за ноги еще живого. Белячишка сучил передними ногами, пытался поднять голову, озирался дико, Коля отвернулся, крикнул:

— Добейте! Так нельзя!

Сергей Иванович удивленно пожал плечами, сказал:

— Посмотрите, как это делается. — Взял зверька левой рукой за уши, ребром правой резко ударил под затылок.

Коля поздравил с полем. Собаки, не задерживаясь, ушли. Охотники продолжали путь по тропе.

Лес окончился довольно крутым склоном к неширокой осочистой низине. За ней простиралось поле, еще дальше виднелась деревня — скорее всего Красницы.

В ивняке, кольцом опоясывающем низину, раз-другой мелькнули пестрые рубашки смычка. Бубен громко сказал: «Ав!» И тут же, неподалеку, в бурой некоей вспыхнул заяц. Русак шел стремительно и легко: троил, пританцовывал, словно балерина ножку о ножку бил, ушами играл. Крупный, мастеровой. Смертным ревом огласил долину Бубен, с голосом, захлебываясь, подвалила Флейта.

Заяц выскочил на суходол, миновал его и пошел малым кругом по сосняку.

Коля волновался: прислушиваясь к голосам собак, стараясь определить направление, прикидывал, где стать.

Решил — на дорожке у края леса. Добежал, огляделся, слушал.

Как выкатился заяц на поле, Коля сначала не заметил. По собакам определил — белые-то на жнивье хорошо видны, — далеко впереди заметил серую фигурку, уходящую под Красницы. Отдален русак. А вот и Сергей Иванович показался из леса и пошел за смычком. Зачем?

Коля потерял собак из вида и со слуха. Не знал, куда идет гон. Судил по своему спутнику. Тот остановился и смотрел в сторону деревни, значит, смычок там. Слушал, слушал — очень мешали электрички, да еще собака чужая лаяла, наверно в деревне. Час прошел, может быть и больше...

Сергей Иванович побежал назад, и сразу, правда на краю слуха, послышался гон. Собаки повернули и вели обратно. Коля приготовился, прикинул, до какого примерно рубежа можно стрелять, ждал с нетерпением, оглядываясь по сторонам, и... внезапно вспомнил: «Налево не ходите... убивец... липкие... на железную дорогу...» Да! Смычок возвращался, и если он не задержится на гриве, перейдет — дальше поле и железная дорога!

Коля побежал туда. На ходу слышал собак, сначала близко, сбоку, потом впереди. Задыхаясь от непривычки бегать, проклиная себя и Сергея Ивановича, миновал лес, окраину деревни и оказался на краю убранного картофельного поля. За ним — высокая насыпь железной дороги. Не мог больше бежать, остановился. Собак не видно, гон слышен, идет где-то в островке ольшаника в полосе отчуждения. Ясно, неизбежно — вот-вот выскочит наверх. Сердце чуть утихомирилось — надо бежать, бежать. Скорее! Беда! Коля застонал на бегу от ужаса и отчаяния, что не успеет. Хоть бы скололись, совсем потеряли!

Ближе и ближе высокая крутая насыпь. Гон там, впереди. Минутная перемолчка, и с полными голосами смычок — две пестрые фигурки — взлетел на насыпь и погнал поверху вдоль рельсов.

Коля задохнулся — не мог больше двигаться. И бесполезно. Закричал, обманывая: «Вот, вот, вот!» Не услышат, да разве снимешь с гона кровных собак! Остановился Коля и сразу увидел зайца впереди собак и электричку.

Зеленый, с красной полосой под мордой поезд вылетел из леса на край поля. Конец! Не сможет и не захочет машинист ради каких-то собак остановить с полного хода поезд. Нет, не остановит.

Электричка уже ревели непрерывно и злобно, нагоняя собак. Коля понял, что сейчас будет, представил колеса, лапы, головы, кровь. Захотелось закрыть глаза — так бы и сделал, — как вдруг у штабеля шпал рядом с полотном вспыхнул дымок выстрела. Русак покатился через голову. От штабеля выскочил человек, схватил зайца, высоко поднял над головой и кинулся вниз с насыпи. Собаки дружно свернули за ним. С воем промчался поезд.

Когда Коля подошел, Федор Федорович без шапки сидел под откосом прямо на земле. Держал на брючном ремне Флейту, Бубен дремал, поднял голову, посмотрел на подходившего хозяина. Рядом на траве лежал большой, курчавый по спине русак.

Егерь сказал:

— Сходите, попросите жену запрячь, приехать за мной. — Улыбнулся невесело, показал на ноги.

Коля наклонился, поцеловал егеря в пахнувшие табаком и мятой губы.

ВАЗЕЛИНОВЫЕ ГОНЧИЕ

Мне трудно с ним спорить, да и спора не было, просто Дмитрий меня поучал:

— Кровные, породистые — грош им цена. В очереди в секции — год, за щенка заплатишь, как за взрослую, растить, тратиться, мучиться еще год, и получишь комнат-

ную собачку. Любуйся, получай на выставках медали — работы не жди. Вот у меня была Пальма, поглядеть — одно ухо так, другое эдак, шерсть медвежья, масть лиловая. А гоняла... — при этом слове Дима всегда зажмурился скорбно и мотал начинающей лысеть головой, — гоняла смертельно! Сколько из-под нее зайцев взято! Сотни. Не было и не будет больше такой собаки.

Мой опыт в собачьих делах ограничивался детскими воспоминаниями о кровных отца и дядюшки. Дима был старше, на охоту ездил постоянно, по его словам удачно, к тому же обладал внушительным басом и замечательной черной бородой. Я молчал.

Собаки у него часто менялись, и доставал он их всегда при обстоятельствах необыкновенных. Заходит ко мне, возбужденно рассказывает что-нибудь вроде:

— Ну, Лешка, еду за собакой. Представить не можешь, какая удача! Сосед по квартире узнал, что в Гдове один хирург спас от смерти — великолепную операцию сделал — одного охотника. Тот подарил ему изумительного, лучшего в районе гончака, от сердца оторвал. Хирург взял, не хотел обидеть, сам помер, вдове собака не нужна, обратно не берет. Сосед уверяет: «Попросите, отдаст». Еду, сегодня же. Только не прозевать! Эх, и погоняем же!

Так появлялась у Димы новая собака. Появлялась и по разным причинам скоро пропадала.

И на этот раз, в самый разгар охоты на зайцев, ни у меня, ни у него собак не оказалось. Перед праздниками, когда желание поехать на охоту разрослось до душевной тоски, зашел Дима, потирая руки и таинственно улыбаясь, пробасил:

— В пятницу едем, собирайся, патронов побольше. Все, точка.

Я сразу согласился, не стал спрашивать, знал, что через минуту сам расскажет. И верно.

— Понимаешь, Лешка, письмо получил от Павла из Селищ. Приглашает. У него Пират — чудо. Давно ли охота началась, пятьдесят штук угрохал из-под него. А? Это вещь!

От станции, хоть и по разбитой осенней дороге, мы добрались довольно рано. Павел мне сразу понравился: средних лет, большой, прямо гигант, руки длинные, кисти вроде лосиных лопат, глаза карие в приветливом прищуре, очень спокойный и добрый. А главное, родная охотничья душа. Рассказывал про охоту горячо, взволнованно и с замечательными подробностями. Работает на железной дороге, через день и в праздники — в лесу. И права его молоденькая жена, что терпит. Павел добродушно посмеивается: «Катя мне про охоту слова не скажет, знает, что больной этим делом».

Поужинав и весьма умеренно выпив «со свиданьем», мы собирались спать. Неожиданно Павел предложил:

— К соседу из Москвы охотник второй день как приехал. С двумя собаками, рыжие с белым, вроде пойнтеров. Сходим посмотрим? И сговориться надо, кто куда, чтобы не мешать. Зайдем на часок?

Мы согласились. В кромешной тьме, осклизаясь на грязи, добрались к соседу. Свет из открытой нам двери высветил висящего в коридоре цвелога* беляка.

В избе было жарко. Хозяин дома в одном исподнем, поджав ноги, сидел на кровати и играл на балалайке. На полу лежали — не обратили на нас внимания — две англо-русские гончие. Мужчина средних лет поочередно мазал им лапы, макая палец в баночку с вазелином. Поздоровался, пояснил:

— Тропа железная, нащекотали лапы, завтра опять в работу.

* Цвёлый заяц — перелинявший.

Я узнал в приезде охотнике Василия Ивановича К., известного московского охотника и судью на выставках собак. Мы разговорились. Память у него замечательная — называл поименно всех предков своей Свирели, от кого она идет, что это были за собаки, даже фамилии и профессии владельцев помнил.

Моим спутникам скоро наскучил этот разговор, и они потянули меня домой. Только вышли, Дима за бока схватился, хохотал, выкрикивал:

— Вазелиновые гончие! Нет! Ты видел, как он им лапки мажет, каждую подушечку с любовью. Доктор собачий, зачем их в лес берет? Водил бы в садик на прогулку, на розовой ленточке, вазелиновых...

Павел поддержал:

— Видали мы таких городских гончаров, видали. Спят на диванах, едят котлетки, зайца раз в год видят, не знают, с какой стороны гонять: с головы или с хвоста.

Рассвет застал нас у крыльца в полной охотничьей готовности. Павел вывел со двора Пирата — крупного, высоконогого и борзоватого выжлеца неопределенной породы. Пожалуй, гончий, но сухая, клинышком голова плохо сочеталась с длинным хвостом, увенчанным на конце львиной кисточкой, а иссиня-черный чепрак польской гончей — с голубым глазом и пятнами-побрызгами арлекина.

Павел заметил, что я разглядываю собаку, сказал:

— В общем — помесь. Мать из района, замечательная работница, природный костромич, отец... отец — бог его знает, может, и не один.

— А как работает? — не удержался я.

— Посмотрите сами, хвастать особо нечем. (Тут Дима задрал голову и рукой махнул: дескать, особо не слушай, скромничает.)

— А лису?

— Не признает, внимания не обращает.

Павел и поводка не взял, подсвистнул Пирата и быстрым шагом повел нас к недалекому лесу.

По высокой гриве тянулась набитая скотом тропа. Слева обширное моховое болото с мелкими сосенками, справа то бугор, то низина, поросшие березовым молодняком с сильным еловым подседом, и заросли ивы. На взгляд место самое зайчистое. Мы разошлись по сторонам тропы. Пират в оживленном и деловитом полазе скоро скрылся из глаз.

Ночной мороз припудрил палый лист на дорожке и выжал белые ледяные цветы из гнилушек и палочек мокрого хвороста. По ручьям, кое-где подернутым молодым льдом, по-осеннему вяло стекала вода. Звонко хрустели под ногами матовые отлупы луж.

С поляны на высоком холме открылось все болото до дальнего края, еле заметного сквозь голубую дымку. Говорят и пишут, что человек, выйдя на берег моря, невольно останавливается, пораженный беспредельностью и тревожным простором большой воды. Точно так я чувствую себя на окраине наших северных открытых мшаг. Не знаю, оглядываются ли на берег те, что изумлены морем. Здесь я непременно оглянусь, замечу блеск подпорной воды, последнее золото ивняков, стайку тетеревов, рассевающуюся на деревьях болотного мыса. Постою, полюбуюсь ими, ощущая уютность видимого, причастность к нему: «Вы тут — и я тут; вам хорошо — и мне хорошо». Хорошо быть в лесу в кроткий и тихий осенний день.

Час ходили без подъема. Появлялся и исчезал Пират. Посвистывая и порская, пересек мой путь Павел. Остановился, огорченно развел руками:

— Не поднять никак, а были здесь, были.

— Ничего, походим — найдем. Надо побольше кричать — заяц из крика образовывается, это точно.

Павел посмотрел на меня невидяще и высоко поднял сросшиеся на переносице брови:

— Постой, постой... ты видел у соседа зайца? Видел. Так он же вышел — белый совсем.

— Ты что, на узерку* предлагаешь? Лежачего? У нас не принято, если с гончими.

— На узерку не выйдет, видишь, везде белинки? — Павел показал на лохматое ледяное ожерелье у продуха прикорневой пещерки. — Глаза устанут — пропустишь, мимо пройдешь. Не в этом дело. У меня было. Снег полежал, сошел, зайцы побелели. Искал, искал в привычных местах — нет. Случаем попал в моховое болото — все там.

Павел приставил ко рту ладони:

— Дима! Димааа! Давай сюда!

Только сошли в мох — Пират нас обогнал, — как слышался гон. Павел крикнул:

— Назад! Наверх! На гриву!

Мы побежали. Выжлец гнал парато**, уверенно, доносчивым, правда, каким-то деревянным голосом. И скупо его отдавал.

Охота задалась. Первый беляк через десять минут выскочил на гриву и шел Диме прямо в ноги. С остальными было почти так же — поднятые, выбирались из болота, крутили по сухому, где нам удобно было подстаивать. Третий и пятый под гоном умчались напрямую через мшагу, и Пират их бросил. Павел сказал:

— Зря гонять не будет — знает, который не возвратится.

К обеду у меня было два беляка, у Димы — два, у Павла — ни одного. Он ничуть не огорчился, рад был за гостей.

Сошлись на полянке у большого серого валуна позавтракать. Дима был в восторге от работы выжлеца:

* Узерка — стрельба побелевшего зайца в бесснежье на лежке.

** Парато — быстро.

— Вот это да! Подъем — раз, два — и готов! А ход? На хвосте висит. Заяц летит.

Стрелял, как на стенде, и то первым обзадил*. Так жмет — зайцу не то что путать, оглянуться некогда. Недаром за все время только два скола. А тех бросил — так и надо. Павел прав — Пират дело туго знает.

Я тоже был доволен охотой, вспоминал каждый гон. На гриве лес был редкий, много открытого, на болоте — того больше. Часто удавалось перевидеть и зайца и собаку. Пират гнал полными ногами, не придерживаясь следа, шел в стороне, резал, пересекал, давал голос и опять уходил. Толчками работал, и все равно надежно, зайцы-то в тороках, не в лесу остались. А голос? Голос плохой — как дрова колет.

Пират получил остатки завтрака, потянулся, с визгом закрутив язык, и побрел от камня вниз, к ручью. Через минуту мы слышали громкий всплеск и лай.

— Так, — определил Павел, — норка. Молодец! Он у меня по всему: норка, куница, хорь. По лосю и кабану — лучше не надо. В лесу все наше. Пойдем поможем.

Норка отсиживалась в путаных корнях черноольховника на берегу ручья. Мы вырезали палки, тыкали во все ходы, два раза слышали злобное верещание зверька, один раз она мелькнула между пнями. Пират лаял, визжал, грыз белыми зубами корешки.

Мне наскучило. Отошел в сторону по речке, наблюдал, как рыбки мальки темными палочками стремились через пережат. Отошел еще и поднял зайца. Снежно-белый, он выскочил из пожухлой заросли папоротника и умчался. Мне заяц был не нужен, но я подумал о Павле и решил называть**.

Пират прибежал сразу, понюхал след, взбрыхнул разок-другой, не принял, вернулся к норке. Мы провози-

* Обзадил — дробь пролетела сзади цели.

** Называть — поставить гончую на след.

лись с ней еще часа два — не хотелось бросать, — пока она на наших глазах не булькнула в воду на глубоком. Охота кончилась.

Мы шли по дороге к дому молча, занятые своими мыслями. Я с непривычки устал: гудели ноги, ломило плечи. Продолжал еще жить в тихом распахнувшемся лесу, где по черной палой листве носятся фарфоровые зайцы. Не мог забыть, как глупо пропустил одного беляка: издалека увидел, уверен был, спокоен, решил напустить, он подошел близко, заметил, как я шевельнулся, и в один прыжок скрылся в густом, в елочках.

Павел остановился, поднял руки:

— Пойдите! Слушайте! Что это? Гон?

Вдалеке, со стороны правого холмистого берега болота на грани слуха длился странный звук, словно кто-то кричит, зовет, тревожно, неустанно: «а-а-а!»

— Уж не вазелиновые ли? — предположил Павел.

Дима расхохотался:

— Ну, даешь! Вазелиновые давно спят дома на печке.

— Нет, не говори — они, у нас больше некому.

Дима иронически протянул:

— Ну что ж, возможно, возможно. Целый день шлялись, наконец подняли.

— Не так. Я давно прислушиваюсь, еще там, на гриве, никак не мог разобрать...

Пока мы, не торопясь, шли к околице, гон приблизился, стал хорошо слышен.

— Лисица, — решил Павел, — тут ее ход, знаю.

Собаки вели у деревни под горкой в густых мелочах. Несколько раз мелькали среди ивовых кустов белые бока гончих, а на телефонной просеке нам удалось их перевидеть. Смычок шел ухо в ухо, чуть не толкаясь. Выжловка, как бы торопясь и волнуясь, лила и лила томный голос. Выжлец басил пореже, сдваивая, иногда неожиданно и страшно потрясал истошным заревом. Гулкое эхо вто-

рило голосам, и казалось, что не две собаки с лаем преследуют зверя, а стая неведомых существ плачет в погоне за недостижимым.

Этот гон слышали все, и был он тревожен. Там, где он проходил, испуганно трещали сороки, вскрикивала сойка, тетерева переставали кормиться, вытягивали длинные шеи. Даже деревенские шавки отозвались. Пробудилось что-то заложенное в собачьей душе, давнее, забытое. Они лаяли, задрав морды, злобно, с тоскливым подвывом.

Осенью вечера ранние, долгие ночи. Не торопишься выспаться. Шла у нас беседа до позднего часа. Пока хозяйка стелила на полу сенники, мы трое вышли на крыльцо покурить. Услышали гон смычка, настойчивый, уверенный. И была в нем песня.

Я подумал: «Песня, музыка — конечно. Не даром гончатники дают такие клички: Свирель, Флейта, Лютня, Арфа, Скрипка, Кларнет, Фагот, Гобой — все есть».

Гон приблизился к деревне, шел ровно, без сколов, почти без перемолчек. И уже слышались в голосах смычка нарастающая ярость и неизбежность победы.

Павел возбужденно говорил:

— Гонят вазелиновые! Ой как гонят! Что ж она не понорилась? Так ее доконают, проклятущие.

Без упрека, с уважением он сказал это слово. Дима молчал.

На первом свету мы вышли из дома, собираясь на охоту. Из леса по дороге возвращались собаки приезжего охотника. Они шли мимо нас, усталые, строгие, дочерна забрызганные грязью. Выжлец остановился, поднял голову и глухо заворчал на Пирата.

— Смотрите! Смотрите! — закричал Павел. — У кобеля морда покусана, кровь. Добрали. Так я и располагал.

Дима спустился с крыльца, шагнул к смычку и снял шапку в глубоком поклоне.

Цвельый беляк возник у самых ног Игнатия Павловича и, шурша листвою, скрылся в низине. Я не оговорился, именно возник, — было совершенно непонятно, как такой большой и ослепительно-белый заяц мог невидимо лежать в клочке некоей на лесной поляне.

Игнатий Павлович вскинул ружье, прицелился, но не выстрелил, повернулся ко мне и закричал:

— Называть?

Я не успел ответить.

В низине помкнули* гончие, и гон пошел, удаляясь, на рыжую полосу над кромкой ельника, туда, где, мешая слушать, нетерпеливо гукал перед семафором паровоз.

Игнатий Павлович внимательно огляделся и не торопясь зашагал в противоположную сторону. Когда он проходил мимо, я тихонько окликнул его:

— Что не стреляли?

— Пусть погоняют. Я напросился к вам гончих послушать, не за пухом и пером...

Мой почти случайный спутник решительно начинал мне нравиться.

В те дни отступила зима. Вернулось тепло. Растаял снег, обнажив прибитую траву, черные листья и теплую, еще не озябшую землю. Странно было видеть в такую пору голубое неморозное небо, мелкую рябь на открытой воде торфяного озера. Лето и лето, правда — тихо не по-летнему. Слышно только, как на рябине, чёкают и повизгивают дрозды и далеко, где-то на грани слуха, идет ровный несмолкающий гон. Минуту назад я слышал только Порошу. Сейчас ее высокий грустноватый голос частенько покрывался басом Листопада. Значит, гон приближался.

* Напали на след и погнажи (охотн.).

Трудно было понять, как заяц сумел проскочить между нами, совсем рядом. Все стало ясно, когда собаки с полными голосами, почти не закрывая рта, промчались по неглубокой канаве, поросшей помятой таволгой, — здесь и прошел беляк невидимо и неслышно.

Я подошел к Игнатию Павловичу. Его круглое мясистое лицо выражало полное удовольствие, узкие голубые глаза сияли, под расстегнутым ватником сверкали головки медных гильз, отвороты огромных резиновых сапог воинственно топорщились.

— Хорошо! — сказал он. — А заяц-то как, а? Меж пальцев проскочил! Обоих обманул.

После недолгой перемолчки смычок повел болотистыми мелочами по краю больших полей и сошел со слуха. Идти за собаками не хотелось — как-то разморил этот погожий и дремотный день. Я сел на поваленную сосенку, прислонился к другой, вытянул ноги, закрыл глаза и почти уснул. Наконец послышался далекий гон, неожиданно быстро приблизился, и, когда казалось, что вот-вот покажется заяц, гончие скололись. Мне с бугра было слышно, как внизу потрескивают сучки и громко хлюпает вода, словно там не собаки, а утки полощутся. Заяц явно запал где-то на кочке в залитой водой низине.

Когда я начал уже беспокоиться, обиженно, пощечья тонко пискнул Листопад, и тотчас дико вскрикнула и захлеб залилась Пороша.

Заяц промок. Поголубевший и тонкий, он летел по склону, как мяч, брошенный сильной рукой, мчался в ту сторону, где на полянке, в частом ельнике, стоял на лазу Игнатий Павлович.

Место плотное, гончие ведут на глазок, это стрельба как влёт, а может быть, и потруднее. Мой спутник, по его словам гончатник, и только гончатник, с легавой не хаживал, на стенде не бывал. Промах был почти неизбе-

жен. «Ох! Ох!» — басовито ухнули выстрелы, разорвав осеннюю тишину. Сизое облако дымного пороха выползло на просеку.

— Доше-ел! — донеслось из ельника.

Мы сошлись на сухой поляне у большого камня.

Я встал на него и, не отрываясь, смотрел на удивительную картину, открывшуюся с лесного бугорка. Низкое и неяркое солнце пожелтило еловые вершины, теплым светом обласкало озябший ивняк, сталью отсвечивало на мокрых стволах осин. В туманной дымке синели острова на моховом болоте, и все это покоилось в совершенной тишине, словно в глубокой дреме.

Чудесный день, приятная охота, и мой спутник, кажется, дельный охотник. Непростой был выстрел, очень непростой. Как все хорошо и радостно!

На поляну вываливали гончие. Они были близко, когда Листопад задрал голову и... словно кто-то привязал ему к носу невидимую нить и потянул. В густом тальнике вспыхнул и пропал огненный бок лисицы. Мимо меня с визгом промчалась Пороша.

Лиса пошла напрямую.

Через час быстрого хода, почти бега, мы вышли на большую дорогу и вновь услышали собак.

Большак пролегал по сухой бугровине. Слева тянулись вперемежку с полями низкие кусты и виднелись крайние дома деревни, справа в глубокой низине чернело болото. Там и шел гон.

— Где остановиться? — задыхаясь от быстрой ходьбы, спросил Игнатий Павлович. — Я здесь мест не знаю.

— Пожалуй, вон там, у ручья. Видите, где ольшаник языком пересекает поле и через ручей бревно переброшено?

— Вижу!

Лисица перешла дорогу и кружила теперь в кустах у самой деревни. Там заливались дворовые собаки, кто-то

высоким сорванным голосом закричал: «Вон она! Вон она! Лисица!»

Я осторожно пошел на гон.

Смычок гнал без скола — без перемолчек. Размеренно и часто бухал Листопад; четко сдваивая, вторила ему Пороша.

Выстрел, как всегда, прозвучал неожиданно. Невидимый в кустах, кричал Игнатий Павлович:

— Готова! Кувыркнулась!.. Пошла! Вот! Вот!

Смычок, не останавливаясь и не умолкая, завернул опять к деревне.

Я подбежал к охотнику.

Волнуясь и перебивая самого себя, он рассказал, что прямо к мостику, к бревну, вышла огромная ярко-красная лисица, кувыркнулась после выстрела и пропала в кустах.

— Сейчас они ее доберут! Сейчас поймут!

Но собаки опять пошли напрямую и скоро сошли со слуха.

Затрещали ветки. Из кустов вышел пожилой мужчина. Резиновые сапоги, куцый ватник, шапка-ушанка — все было очень обычным, но смоляная борода, узкое, лицо, черные, как угольки, глаза и прямой с горбинкой нос делали пришельца похожим на стрельца Петровских времен. Стрелец с маху вонзил в колодину топор, вытащил кисет и заговорил, не торопясь:

— Граждане, или, лучше сказать, ребята-охотники! Чуть-чуть остепенитесь, я расскажу. Нарядили меня выгул для скотины починить. Пошел я полем напрямик. Иду себе, иду, гляжу — два волка по большаку шагают. Остановились, слушают, а тут в аккурат ваши собаки гонят. Хорошо гонят — так прицепились!.. У меня у самого были собаки, тоже гончие. Волки свернули с большака и подались прямо на голоса — в болото, что Козьим зовут. Там давно еще

у бабки Сеньчихи волки козу задрали, так и пошло: Козье да Козье. Смотрите, ребята, волк — зверь ушлый, до беды недолго. А при том как знаете, не вас учить.

О, я хорошо знал, что бывает, когда волки идут на гон. Что делать? Поскорее снять собак: они в другой стороне, и пока еще не очень далеко. Первым делом пугнем серых. Мало помогает, но все же.

Я сорвал с плеча ружье. Быстрый дуплет разорвал тишину.

— Игнатий Павлович! Идите на большак, постарайтесь заметить, где лисица перейдет, бегите туда и ловите собак! Я тоже встану на дороге.

Игнатий Павлович заворчал:

— Какие там волки... Бросьте вы панику разводить. Лисица ранена, добьем ее и уйдем с этого места...

— Ловите собак! — крикнул я уже сердито.

Лисица сильно опередила гончих. Она скачками пересекла дорогу у большого ивового куста, когда голоса собак только-только стали хорошо слышны. Я махнул рукой Игнатию Павловичу и со всех ног бросился к лазу.

Мы встали по обеим сторонам раскидистого ивового куста и вытащили из карманов ошейники и поводки.

Первым и с моей стороны показался Листопад. Пробегая, он почуял меня и на секунду замешкался. Я побежал наперерез, заревел во весь голос: «Стоять!» — и грудью накрыл его. Листопад взвизгнул от боли и обиды, но из рук не вырвался.

Еще сидя на земле и застегивая натуго ошейник, я увидел сквозь куст, как на Игнатия Павловича с голосом вышла Пороша. Но что он делает? Что он делает! Расставил руки и стоит на месте! Так только лошадей останавливают. Собака запуталась в прутняке и выскочила прямо к Игнатию Павловичу. Он оттолкнул ее! Он пнул ее ногой!

С Листопадом на поводке я подошел к Игнатию Павловичу. Не время было объясняться. Я сунул ему в руку сворку:

— Держите крепко. Не отпустите! Я побегу.

Пороша гнала в Козьем болоте. Лисица, видимо, притомилась и ходила на маленьких кругах.

Я прибежал туда, продираясь сквозь нескончаемый, больно хлещущий ивняк, черпая за голенища болотную воду. У острова вдоль тропинки на вязкой грязи ясно отпечатались черные розы волчьих следов.

Они были здесь недавно, муть еще не осела в лужах. Они шли туда, где неумолчно и звонко гнала выжловка.

Еще дуплет и еще. Стреляя, я кричал и бежал на голос Пороши. Последний патрон... Он выскользнул из пальцев и плюхнулся в моховую яму. Опустив по локоть руку в ледяную воду, я долго шарил в торфяной жиже, пока не нащупал. Папковая гильза разбухла, и патрон застрял в патроннике. Ни туда ни сюда. С раскрытым ружьем я побежал дальше, но гон отдалился. Билось сердце, набатом бухало под мокрой курткой, колокольчиками отдаваясь в каждом пальце. Дрожали колени, и пересохло во рту. Пришлось сесть на камень и только слушать.

День угасал. Вечерняя дымка ползла из болота на остров. Неподалеку тюкал топор «стрельца». Стайка свиристелей поднялась с рябины и с протяжным свистом полетела на ночлег. Рыжая полоска зари перешла на запад: там, где ее подпирала чернота болота, шел гон. Как гнала Пороша! Это не лай собаки. Нет, это песня. Песня страстная, неумолчная, как ручей, звонкая, как мартовская капель, и печальная, как плач...

Гон нарастал, он все ближе и ближе. Я даже не удивился, увидев лисицу. Вывалив язык, она рысцой бежала вдоль канавы, опустив до земли хвост. Где твоя пышная труба, лисица? Палка, мокрая палка, а не хвост, и ноги черные от грязи.

Стрелять не могу — проклятый патрон застрял накрепко. А вот и Пороша! Я бегу к ней:

— Стоять! Стоять! Стой, Порошка!.. Остановись! Поди сюда, негодная! Поди сюда, собачонка! Остановись, Порошка! Паша! Пашенька!

Да, так звала ее дочка, когда Пороша была маленьким щенком.

Ушла Пороша, даже не примолкла. Разве остановишь собаку на горячем гону, когда лисица близко, вот она, чуть впереди, даже слышно, как бежит.

Но что это? Какой страшный крик... Гон смолк.

Я знаю, что это, — и бегу, бегу, не разбирая дороги, закрыв руками лицо от ударов веток. Чаща кончилась. Алая капля на листе, еще такая же, лужица, и дальше словно кумачом устлана тропинка, промятая в осоке. Здесь тащили... Шмыгнула серая тень — услышали меня, бросили.

Пороша... Она видит меня, хочет встать, прислонилась к поваленной осине, села. Пусть лучше ляжет. Что-то страшное, дымящееся, рваное, красное у нее на боку и — гладкий пласт печени.

Кто еще идет? Шумно ломится по кустам «стрелец». Я беру у него из рук топор, лезвием вырываю патрон из казенника, обдираю с гильзы разбухшую корку, заряжаю, отхожу немного, точно целюсь, стреляю...

Мы молча сидим на поваленной осине. Долго сидим. Я очень благодарен «стрельцу» за это молчание, — он здесь, рядом, все понимает и молчит.

— Друг, — говорю я, — пойди, вытеши, вроде лопаты.

Влажная земля поддается легко, мешают корни. «Стрелец» их ловко рубит топором. На дно ямы стекает вода. Мы бережно поднимаем Порошу за еще теплые лапы, укладываем, как в люльку. Теперь надо сделать, чтобы не осквернили серые твари то, что останется здесь. По межам старой пашни много камней, мы таскаем их на могилу.

— Гоп! Гоп!

Кто кричит? Ах да, это мой спутник...

— Го-оп!

Он выходит к нам; внимательно, очень надежно привязывает к березке Листопада и помогает катить большой камень.

Круглое лицо Игнатия Павловича осунулось, и глаза не такие, как утром. Он старается, пыхтит и приговаривает:

— Как же это так? Такая собака!

Нет, спорю я в душе с Игнатием Павловичем, это не просто «такая собака». Это Пороша, Паша.

Не один год мы охотились с ней, и выросла дома. У маленькой Пороши были бархатные уши и черные глазамаслины. Она медленно закрывала их, лежа у меня на коленях, и тоненько урчала...

Мы разожгли костер на камнях могилы. Дымный столб поднялся вверх, закачался, как больной, и обнял голые вершины осин. Темень пришла к огню и стеной встала вокруг.

— Дайте мне ваше ружье, Игнатий Павлович!

Почему он медлит? Что он думает, мой случайный спутник?

Я беру протянутое ружье, толкаю предохранитель и раз за разом стреляю в низкое, черное небо...

ВЫБОР

Болото начиналось на задворках дома. Я скинул проволочную петлю с калитки, вышел из огорода и разрешил своей спутнице идти в поиск.

Спутница моя — легавая собака по имени Кешка. Кешку подарил приятель. Подарок пришелся ко времени. Той

весной лишился я молодой англичанки, погибшей от нервной чумы, загоревал, растерялся. Тут и привел он мне желто-пегого пойнтера, годовалую уже собаку. Потому и кличка осталась у нее такая нелепая для легавой: не принято у охотников менять на свою, новую. Было это пять лет назад. Собачонку я натаскал сам, в семье она прижилась быстро и хорошо. Дочь говорит про нее: «Не знаю, какая она там охотница, но как человек — очень приятная». Характер у Кешки веселый, общительный. Любит улыбаться. Многие собаки это умеют — приподнимут губу и сделают веселые глаза. Кешка улыбалась широко.

Я разрешил Кешке идти в поиск и только успел опустить в патронник пару новеньких аккуратных семерок*, как краем глаза заметил, что Кешка турнула дупеля. Из-под морды вылетел, протянул над самой травой и, всплеснув угловатыми крылышками, ткнулся в осоку у кромки можжевелевой заросли. Кешка неторопливым галопцем двинулась за дупелем, выпихнула его и проводила равнодушным взглядом. На этот раз птица поднялась высоко и скрылась за лесистым мысом.

Я сел на серый полевой камень и приложил к губам свисток. Собачонка охотно пришла, улыбнулась и легла у ног. Вид у нее был безмятежный. Я сказал:

— Кешка, чертова собачонка! Так нельзя. Ты взрослая, натасканная, дипломированная легавая. И что же? Ни поиска, ни чутья, ни стойки, и еще гонишь! Попами домой вернемся. Кончай это дело! Иди не грехи.

Кешка немедленно вскочила, взглянула мне в глаза, еще раз улыбнулась и помчалась вниз к болоту.

Упрекают частенько нас, охотников, что, увлекаясь своим делом, ничего кругом не видим. Бежим по лесу —

* Семерки — патроны, заряженные седьмым (мелким) номером дроби.

бах! трах! тарарах! Вторглись, тишину нарушили, все кругом разогнали, распугали. До чего же не верно! Конечно, бывает, что в горячей погоне за хитрым и ловким зверем, скажем за лисой или куницей, больше на след смотрим и оглянуться некогда. Зато другой раз выберется минутка или часок, присядешь, притихнешь, и нет тебя — растворился в тишине, красоте и покое. Только глаза и уши живы.

Точно так сидел я на камне и любовался болотом. В этот утренний час, тихий и прозрачный, имело оно вид необыкновенный. Посмотреть сверху — широкое поле, окольцованное по холмам темным лесом. Из елового бора выбежал хоровод в желтых платьях. Выбежал, стремясь туда, к середине, где расплескана синь моховых озер и окнищ, выбежал и остановился — дальше топко. Замерли березы, окаймив болото бесшумным и ровным пламенем. И все вокруг веселило по-осеннему не жаркое, но очень ясное солнце, и лучи его играли с нежными нитями летучей паутины и каплями росы на седой отаве.

Время шло, надо было подниматься и идти. Я искал глазами Кешку. Увидел далеко-далеко на красном мху недвижную белую собаку. Заторопился, а не надо было: Кешка стояла твердо. Высоко подняв голову и вытянув хвост-прутик, она замерла на голом месте, только впереди маячил густой и одинокий таловый куст.

— Вперед, Кеша, вперед! Тише! Тише!

Очень быстро шла на птицу собака, я поспевал крупным шагом, почти бежал. В голову не пришло, что впереди не бекас, не дупель, а у меня в стволах мелкая дробь. Но, видимо, не хотелось тетереву вылетать на открытое, долго таился, поднялся рядом, большой, гремящий тугими крыльями, и шлепнулся на мох от первого выстрела. Кеша не торопясь подбежала, взяла черныша за крыло и подала в руки.

Нарядная птица — темная грудь отликает зеленым и синим, снежно-чистые подкрылья, черная лира хвоста, строгий клюв и удивительные, ни на что не похожие брови, пухлые, ярко-алые. Птица-цветок. Я держу ее в руках, любуясь, бережно расправляю надломленное дробью перо.

И еще удивительно — как это собаки могут причуивать на таком большом расстоянии?

Стыдливо оглянувшись, я ткнул нос в синюю грудь косача. Пахло едва уловимо чем-то лесным, горьковатым.

Тут я заметил, что собачка моя сидит рядом и ждет, сказал, вспоминая ее отличную работу:

— Кешенька! Вот так и надо. Прекрасно можешь работать и по бекасу, и по дупелю... если захочешь. Ступай!

Кеша привычно улыбнулась и, едва отбежав, прихватила ветер, потянула и стала по паре бекасов, запавших у ржавой мочажины. Отлично сработала. И так у нас пошло и пошло до конца дня. Совершенно замечательная собачонка, все у нее: и поиск, и чутье, и стойка!

Мы поднимались от болота к дому. Такая тишина пала на землю, что далекий лай дворовой собаки казался рядом, а шаги мои непомерно громкими. Убранные, вспаханные нивы пахли открытой землей и сытным запахом перебродившего капустного листа. Я шел, любуясь багряными вершинами осин, тонко вырезанными на безоблачном небе, и мне было радостно. Так хорошо, что не испугался я вчерашней ненастной погоды, поехал на охоту, и вот такой отличный день выдался!

Верите ли вы в предчувствия? Многие верят. Я не верю, но допускаю, что при особых обстоятельствах люди с повышенной нервной системой могут что-то предугадать. В этот короткий и красивый вечер я ощущал редкую душевную наполненность и умиротворение. Скажи

мне встречный: «Стой! Впереди страшное, смертельное!» — я бы расхохотался ему в лицо.

Тропинка уперлась в обширный огороженный луг. Мы протиснулись под жердями — я под верхнюю, Кешка под нижнюю — и попали на кочковатый, стравленный скотом выгон. Был он пуст, если не считать огромной толстозадой лошади, привязанной на цепи к воткнутой в землю железной палке. Рядом, смешно скрестив тонкие белочулочные ножки, лежал жеребенок, рыжий, масть в масть к матке. Кобыла, опустив гривастую шею, стригла и рвала траву, временами сторожко поднимая голову.

Кешка шла у ноги, поглядывала на меня по-приятельски, видимо тоже довольная славным охотничьим деньком, и вдруг помчалась к лошади. Подбежала, запрыгала вокруг с визгливым щенячьим лаем. И кобыла пошла. Зверово всхрапнув, оскалила зубы, легко, как иголку из масла, выдернула железный штырь и, ускоряя бег, бросилась на собаку.

Кешка замолкла, поджала хвост и ринулась ко мне. Я поднял крестом руки, закричал грубым пастушьим голосом: «Ну! Ну! Ку-у-ды!» — почувствовал резкий запах конского пота и толчок, будто с разбега наткнулся на жесткую стену. Упал. Не испугался — не успел: оторопел поначалу. Когда поднимался, вспомнил злобный храп, тяжелое позванивание цепи, гулкий топот, оскаленные зубы и выпученные белкастые глаза. Уже далеко от меня шла погоня, по кругу мчались собака, за нею лошадь и рыжий жеребенок. Я понял, что Кешка опять кинется под мою защиту, и побежал к далекой, страшно далекой изгороди.

И опять за спиной грузный, гулкий по земле топот. Все ближе и ближе. Я отскакиваю в сторону. Мало! Толчок! Неловко падая, вижу, как в сторону отлетает ружье с оборванным погоном.

Встал. Почувствовал кислый и тревожный вкус крови во рту. Неожиданно и резко пришел страх, непреодолимый, телесный. Затряслись ноги, и мертвенно похолодело в желудке. Жеребенок отстал, а кобыла, равномерно покачивая головой, мчалась за Кешкой по роковому кругу. Сейчас собака опять привернет ко мне — и это конец! Лошадь убьет меня не намеренно, не со зла, а так, по ходу своему, не замечая, как человек топчет муравьиную дорожку, трактор — лягушку. Я был принижен навалившимся страхом, но хотел жить и озлобился, как крыса, загнанная в угол.

Мир сузился: остался лишь огороженный клочок голлой земли и на нем я, собака и лошадь, где происходило сейчас самое главное, может быть последнее в моей жизни. Один из нас должен умереть. Другого выхода нет. Только не я!

Я должен убить... кого же? Кого? Надо решать! Скорее! Лошадь? Большую, породистую... Как отвечу? Нет! Тогда — Кешку? Кешеньку? Не могу!

Они бегут ко мне. Поднимаю ружье, не глядя, на ощупь достав патрон с картечью, заряжаю, жду.

Журчащий металлический звон цепи, нараставший грохот копыт — Кешка с поджатым хвостом и страшный преследователь. Я должен выстрелить, должен убить. Кого? Мир сузился до прицельной планки ружья... Выцеливаю заранее, точно голову...

Откуда-то извне донесся пронзительный высокий голос:

— Эй! Фея! Ты что, Фея! Стой!

Щуплый подросток бежал по выгону, кричал, протягивал краюху хлеба. Кобыла притормозила, стала и порысила к нему навстречу. Кешка с разбегу ткнулась мне в ноги. А голосок кричит уже мне:

— Дяденька! Не бойтесь! Фея людей не трогает, собак терпеть ненавидит.

Удерживая платком капающую из разбитого лица кровь, я ушел подальше от проклятого выгона и сел на бревно, брошенное у дороги.

День погас. Потеряли краску яркие листья осины, голубая вода в лужах превратилась в обычную бурую, поблекла золотистая щеточка некоей на меже. Кеша подошла и положила голову ко мне на колени. Я прижался щекой к ее уху. Шерсть была прохладная, бархатно-мягкая и приятно пахла медовой псинкой. Я гладил ее, спрашивал: «Ты поняла хоть немножко, что с нами было?»

Кешка отошла, присела, поджав хвост-прутик, улыбнулась во весь рот.

ТРИЖДЫ РОЖДЕННАЯ

*Самая ласковая, самая шелковая,
самая добрая из всех моих собак.*

Сначала это был желтоватый плюшевый комок, легко помещавшийся на ладони, а через три месяца — нескладная разлапистая ирландочка, по цвету уже близкая к замечательному, редкостному окрасу взрослых собак. Я знал всех предков щенка, убежден был, что вырастет красивейшая собака, и захотелось имя ей дать достойное. По семейной традиции надлежало назвать в честь реки. В те годы я был влюблен в новгородскую Уверь. Даже писал о ней: «Уверь-река издалека течет. Берет воду из болотных речушек, из озерных проточин, из прибрежных ключей. Наберет воду и в Мету кинет. А Мета в Ильмень. Ильмень в Волхов — и дальше, дальше до самого моря. И в море ей не конец».

Уверью назвал, однако домашние мгновенно и безоговорочно переименовали ее в Увку. Мне было немного жаль — казалось, что хорошо подобрал, оригинально и звучно, но... Уверь осталась только в родословной и каталогах выставок. С именем не вышло — в красоте не ошибся. На первой выставке я страшно волновался, просил жену поводить по рингу, а сам спрятался в толпе за канатом. Старый московский судья решительно перевел мою собаку на первое место, где она и закрепилась не на один год. Вот такая внешность, а характер? Удивительный. Не только никого никогда не укусила, даже не ворчала. Я был совершенно спокоен, когда дети самого малого, неразумного возраста с ней играли. Я знал, что никогда, ни при каких условиях Увка не укусит. Если игра переходила в тиранство: дерганье за хвост или выщипывание бровей, страдалица смотрела на меня, прося помощи, а если меня в комнате не было, заползала в такое место, где до нее было не добраться.

Мне не приходилось видеть более ласковой собаки. Она до болезненности любила, чтобы ее хвалили, и страдала, если чувствовала, что ею недовольны. Обожала, чтобы ее гладили, требовала, под локоть подталкивала. Могла неограниченное время простоять прижавшись к моему колену, когда я работал за письменным столом. Внук прозвал ее Бешеный Ласкун и возился с ней часами.

В доме Увка была тиха, незаметна, лаяла только услышав звонок или стук у входной двери. Сама выработала маленькие традиции. Обязательно приходила к моей кровати пожелать спокойной ночи: ждала, когда я лягу, поднималась со своей подстилки, подходила, клала морду на край кровати и тихо урчала, не уходила, пока не погладишь. Утром здоровалась, причем вела себя крайне деликатно: проснувшись, выжидала звонка будильника или наших с женой голосов. Процедура приветствия та же.

Охотничью науку Уверь постигла легко, как мне кажется, по робости своей. Как и всякий кровный здоровый щенок, гонялась самозабвенно за птичками в поле, но основную трудность — крепкую стойку — освоила чуть не с первого раза. И не удивительно. Обладая сильным чутьем, издали обнаруживала запавшего дупеля, подходила — вот он под самым носом — что дальше? Схватить? Невозможно! Не тот характер. Вот и стойка. Удержать послушную собачонку от погони за поднявшейся птицей труда не составило — простое, даже не очень громкое «лечь!» — и дело сделано.

К осени у меня была готовая охотничья собака с превосходным чутьем, большим ходом, твердой стойкой, вежливая и неутомимая.

Уверенно поставил ее на полевые испытания по болотной дичи. Получил диплом третьей степени с высокими баллами. Мне, как хозяину, да еще влюбленному в способную собаку, показалось, что судьи побоялись дать выше первопольнице, а она заслужила второй. Подумаешь — далеко отходила, не четко реагировала на свисток и один раз в ветровой тени столкнула. Зато две другие работы — ого!

В дивный хрустальный день начала октября, в разгар вальдшнепиного пролета я решил угостить своего друга Бориса охотой, похвастаться натаской и собакой.

Чаще всего в жизни бывает, что в радости нет полноты, что-нибудь мешает. В тот памятный день все было на одной радостной ноте. Мечта укладывалась в жизнь четко, как курительная трубка в бархатный футляр. Ночевали в деревне у друзей, которых не видели целый год; они знали, что в это заветное число осени мы приедем, ждали, встретили приветно.

В пойму реки, где по ольховым зарослям и опушке поля мы охотились на пролете уже много лет и знали

каждый овражек, каждую рожицу, вышли чуть свет — значит, времени впереди много, и это радовало. Листва сильно облетела, лес был полупрозрачен, что обещало удачную стрельбу.

Сразу после выхода в уголье заметили знакомые известковые побрызги на палых листьях и кивнули друг другу. Тут же Уверь после длинной и страстной потяжки стала, уперев грудь в поваленную осину перед чистинкой, заросшей блеклой таволгой. Взлет пары. Удачный дулет Бориса, и я сказал: «Стой! Не спеши, замечай счастье». Мы сели на удобную гладкоствольную ветровалину, закурили и молчали. Тишина такая, что хорошо слышно вблизи постукивание дятла, вдалеке — бормотание косача. Томные голоса пролетных гусей слышались задолго до того, как, задрвав головы, забыв на минуты про охоту, мы замечали стройно-нестройные их караваны.

Я мысленно смеялся над неудачными охотами, когда густая еще листва мешала стрелять, затяжной дождь рушился с утра до вечера, или легавый неслух сталкивал, разгонял все вокруг, или, того хуже, за день удавалось видеть, точнее, слышать одного-единственного вальдшнепа, вспорхнувшего в гушаре. Да, да! Так бывало, и не один раз.

Я смеялся, и боги смеялись.

Охота шла бойко. Вальдшнепа действительно было много, от стойки до стойки только покурить, чуть-чуть передохнуть да ружье перезарядить. Увка подавала птицу, как блины пекла, — одну за другой, чисто, как опытная легавая, и не сходила со стойки после подъема, если рядом чуяла других. Вальдшнепы были явно пролетные, подпускали близко, постоянно встречались нам по несколько штук вместе, толстые и — может быть, это наша фантазия — светлее пером, чем местные. Борис в этот раз стрелял плохо, торопился, как привык на стенде, по-

лучалось — первым выстрелом близковато, вторым далековато. Оправданию помогала легенда, будто птица эта хитрая: умеет в полете закрыться ветками.

Я был без ружья — в первое поле собаки сам не стреляю, — следил за работой Увки и по привычке считал сработанных и случайно поднятых птиц: первая пара, третий, четвертый, опять пара, даже тройка, десятый, одиннадцатый... Все идет отлично: стойка, я подхожу, жду, когда сбоку зайдет Борис, посылаю собаку как можно спокойнее. Подъем, Увка остается на месте, я говорю ей: «Хорошо, хорошо». Если не промах, Борис идет поднимать битого. Двенадцатый, тринадцатый — много птицы, горячая работа собаки, частая стрельба. Двадцатый... Вальдшнеп порвался близко от собаки, полетел низом. Как-то особенно громко прогрохотал бесполезный дуплет — Увка отскочила на несколько шагов назад. Я не обратил на это внимания...

Вершинами пробежал ветер, с большой березы вспорхнули и закружились листья. Они падали на черную воду канавы и, подняв мачты-черенки, яркими корабликами спешили почему-то в разные стороны. За канавой Уверь нашла двадцать первого. Стойка была вялой, будто то, что впереди, ее не тянет, а удивляет, как лягушка или еж. Я сказал Борису: «Подходи, я отсюда пошлю». Услышав мой голос, Уверь повернула ко мне голову. На лбу у нее прилип ярко-желтый лист — прямо кокарда на фуражке. Я улыбнулся, смотрел, как по ту сторону залитой водой канавы Борис осторожно подходит к стойке. Увка услышала шаги, обернулась и, как только Борис стал снимать с плеча ружье, сошла со стойки, легким прыжком перескочила канаву и села рядом со мной. Я решил, что собака устала, и не послал ее в поиск, взял к ноге, сказал: «Дуришь!» А дурил-то и ничего не понял я.

Мы затаборились на давно облюбованном месте у огромной елки на веселой полянке. Не торопясь пили чай, даже вздремнули немного, пригревшись на солнце да еще у огня, и возобновили охоту сильно за полдень, можно сказать под вечер. И все пошло кувырком, да еще в самую худшую сторону. Стоило Борису, подходя к стойке, приготовить ружье, как Увка уходила назад. После трех случаев она совершенно отказалась идти в поиск. Охота кончилась. Я не понял, что дело плохо вообще. Скоро пришла зима, и больше в лес я с Увкой не ходил.

В следующий сезон взял отпуск на охотничье время и был полон самыми радужными планами и предположениями. Как же — прекрасные охотничьи места, большой отпуск и натасканная второпольная легавая. Что может быть для охотника лучше? Первые выходы в поле обрадовали, подтвердили надежды, и я забыл неприятную историю прошлой осени. Нашел совсем близко от деревни несколько выводков тетеревов, и Уверь отлично по ним работала: так же страстно, тем же большим ходом и с полным спокойствием при взлете.

Настал желанный день открытия охоты. Мы сговорились с двумя опытными охотниками пойти вместе. Один из них спаниелист, другой — временно бессобачный. Решили пойти на обширнейшие поля заброшенной деревни, где я недавно проверил выводки.

Накануне похода я вынул из чехла и протер ружье. Уверь отнеслась к этому занятию явно неодобрительно, ушла в другую комнату. Меня это удивило, но опять-таки не придавал этому значения. Друзья поджидали у крыльца. Я кинул на плечи двустволку, свистнул Уверь, и... что это? Выход на охоту, люди, собаки, ружье — полная апатия. Где бешеные прыжки, приветствия, улыбки, что всегда были при выходе?

Пять километров грязного проселка с собаками на поводках, вход в лес, подъем на гору и... охотничья радость сердца: перед нами широкие поля с островками лиственных лесочков, малые полевые болотца, некошеные, поросшие ивняком. А утро какое! Прохладное, росное, солнце еще красное, только взошло и гонит в низины тонкие пласты тумана. Спаниель мигом скрылся из глаз в густой некоей овражка. Спутники мои заряжали ружья. Уверь смотрела на это тревожно. Отстегнул ошейник, уложил: «Але!» Встала собачонка и ни с места. Решительное и громкое «але». Легла. Что делать? Ну, пройдемся, успокойся, приди в себя. Спутники подались к овражку, где затыкал спаниель, а я пошел по дороге. Позади в шаге от меня, опустив голову и поджав перо, плелась Увка. В низине поднялся черныш. Грохнули два близких выстрела. Собачка моя села прямо на дороге и отказалась идти дальше. Тошно рассказывать, как мы бродили по полям, а позади далеко-далеко на бугре, стараясь не потерять нас из виду, столбиком маячила Увка. Мы уходили дальше, она продвигалась до следующего обзорного холма. К табору подошла, с трудом уговорили съесть кусочек сыра. Мы отдохнули, ушли, она осталась наблюдать.

По дороге домой, войдя с полей в лес, мы поджидали Уверь. Она подошла вплотную и легла. «Это конец», — сказал один из охотников. Другой подтвердил: «Собаку от боязни выстрела не отучить, безнадежно».

Не мог я с этим согласиться: думал — это временно, затмение какое-то нашло на Уверь, последствие той неосторожной охоты. Повесил на стену ружье и все свободное время гулял с Уверью по полям и лесам. Не посылал ее в поиск, ни к чему не принуждал. И верно — начала отходить, все смелее и смелее, сама стала ждать с нетерпением команды «але!». Тем же самым карьером

челночила по полям и болотам, правда, стоило только войти в лес, как начинала жаться к ногам, а если вальдшнепа почует, то уже долго «чистит шпоры»*.

Пришла мне в голову — как теперь понимаю — глупая идея. Решил так: дрессир отличный, страсть есть, ход — лучше не надо, на открытых местах работает — можно получить диплом повыше, будет же когда-нибудь элитой. Такая вот мечта. А выстрел? Так только один, в сторону, и, может быть, она забыла свой страх. Записал ее на испытание по болотной.

Приехали мы с Уверью на известную всем ленинградским легашатникам станцию Пробу с вечера. Провели вечер в «собачьих» разговорах. Был там со своим пойнтером мой друг и интереснейший человек, художник Валя Курдов, про него я обязательно в другой раз расскажу в особицу, он того стоит.

По заведенному порядку очень рано утром мы уже были на «картах» лугов Пробы. Впереди главный судья, два подсудка и ведущий собаку. В некотором отдалении остальные соискатели с питомцами на поводках и зрители. Условия для испытаний отличные: на потных лугах уже довольно высокая отава, ровный ветерок поперек хода. Мой номер был третьим, подошел быстро: красавец блю-бельтон** столкнул несколько дупелей, а флегматичный немолодой уже немец***, как это ни странно, был снят за гоньбу. Я нисколько не злорадствовал, понимал и переживал огорчение владельцев. Однако человек есть человек, подумалось, что в обоих случаях Увка бы справилась: не погнала бы и не столкнула бы в таких хороших условиях.

* Чистит шпоры — уставшая собака плетется сзади охотника.

** Блю-бельтон — английский черно-кrapчатый сеттер (лаверак).

*** Немец — немецкая короткошерстная легавая.

Подозвали меня судьи, записали данные о собаке, дали ружье и два патрона, отметили время. Теперь надо три работы собаки и один выстрел.

Первого бекаса Увка сработала безукоризненно, показала ход, челнок, охотно пришла на свисток, когда перебиралась через канаву. Потяжка с высоко поднятой головой, крепкая красивая стойка. Посыл и четкая подача, по взлету легла. Я даже не смотрел, как один из подсудков считает шаги, — не мое дело, видел, что далеко, но ведь не перемещенный. «Почему не стреляли?» — спросил судья. Я сказал, что не успел, и это была правда.

Вторая работа выглядела не очень эффектно. Далеко от нас Уверь стала, явно накоротке, даже нос вниз и в сторону. Иду подчеркнуто спокойно, судьи позади, чуть поодаль. Слышу: «Приготовьтесь стрелять». Киваю головой, подхожу к недвижной Увери, снимаю с плеча ружье, посылаю. От моего голоса, урча крыльшками, изпод морды собаки поднимается дупель. Стреляю в воздух, и... собачка моя, поджав хвост, летит назад, прыгает на грудь судье, как бы прося защиты. Я молчу, а он, ни к кому не обращаясь, сказал: «Собака боится выстрела». Это был приговор.

Что я мог поделать? Продолжал ходить с Уверью без ружья, а когда пришла пора охоты с гончими, обязательно брал ее с собой. В лесу она по-прежнему болталась у ног или отходила буквально на десяток-другой шагов, не больше. В октябре, в пролетную пору вальдшнепа я замечал, что она иногда останавливалась, подняв голову, и быстренько шла к ногам. Я говорил кому-нибудь из спутников: «Хотите стрельнуть по вальдшнепу? Зарядите восьмеркой, приготовьтесь и идите во-он к той маленькой елочке». Фокус удавался. Мы нарочно посылали ее в ту сторону, приговаривали: «Иди, иди туда, только осторожнее — он выключет тебе длинным клювом

глаз». Мы горько забавлялись, а Увка была огорчена и подавлена.

В зиму я ушел с совершенно непригодной для охоты собакой.

Когда наш дом переводили на паровое отопление, я не дал разобрать печку. Так приятен живой огонь в зимнюю пору. Любимая позиция Увери — сесть поближе, клевать носом и думать про охоту и, я уверен, про меня. И я смотрел на нее, в сотый раз любовался породным видом, замечательными статями и думал: «Так нельзя, не урод же она, надо что-то выдумать, побороться». Но как? У меня был свой печальный опыт: пытался отучить от боязни выстрела кровного и талантливое английское сеттера, бился, бился, и ничего не получилось. Хуже всего, что все эксперты-кинологи, к которым я обращался, единодушно приговорили: безнадежно.

Принялся рассуждать. Дело сложное: она боится ружья, выстрела и вальдшнепа. Ружья боится потому, что оно может выстрелить, вальдшнепа потому, что рядом с ним будет выстрел.

Если отучить бояться ружья, то вся эта цепь может разорваться. С чего начать? Постой, дорогая, ты прыгаешь и пицишь от радости, когда я снимаю с гвоздя поводок, потому что знаешь, что пойдешь гулять. А если вместо поводка будет ружье?

Я живу в парке, гуляю в своем садике — это удобно, но как в городе выходить из дома с ружьем не в чехле? Мой зять, большой рукодел и тоже охотник, сделал деревянное ружье. Все честь по чести: размер, коричневый приклад, вороненый ствол. Я намазал это ружье оружейным нейтральным маслом, натер пороховым нагаром из стволов настоящего ружья и ночью, когда Увка крепко спала — будто она могла заметить и понять фальшь — заменил висящее постоянно на ковровой стенке над ди-

ваном Лебо на бутафорию. Через неделю начинаю работу. Утро, пора гулять, Увка вертится у ног. Снимаю со стенки и беру в руки «ружье». Собачонка, опустив голову и поджав хвост, мигом скрывается в свой угол и «спит» на подстилке. Зову — отказ, не шевелится, только ухо вздрагивает. Пристегиваю поводок, принудительно вывожу на улицу. «Ружье» на плече. И так день за днем вечером и утром. Надоедливо, но не трудно.

Через неделю мы гуляем без поводка, и Уверь все реже косится на ружье. Через две недели углубляю эксперимент: снимаю ружье с плеча и беру его в руки. Явная тревога, но без бегства. Еще через некоторое время начинаю манипулировать — снимаю и возвращаю на плечо ружье, поднимаю его высоко над головой, несую горизонтально. Дольше всего привыкала, труднее переживала Уверь жест прицеливания. И это преодолели. Из осторожности, для полноты опытов один раз заменил деревяшку на настоящее ружье — никакой разницы. Привыкла и наконец, как раньше, радуется, прыгает, попискивает, когда я беру со стенки ружье.

Теперь звук выстрела. Не буду торопиться. Вспомню все, что не дало результатов при работе со злополучным сеттером. Так... стрельба одним пистолетом и далее с постепенной подсыпкой пороха. То же самое, но при кормежке голодной собаки. Выстрел не до подъема птицы, а когда собака посунется за ней. Многократная, частая стрельба рядом с привязанной собакой. Все эти советы, устные и вычитанные из книг, были безрезультатно перепробованы, все кроме последнего, безжалостного.

Решил использовать стенд. В веселые дни снеготаяния я после работы садился с Уверью в автобус и выходил на третьей остановке у Сосновки. В дальнем конце парка стенд Военно-охотничьего общества. С ближнего края парка стрельба чуть слышна — сойдешь с автобуса,

и вдалеке — «тук! тук!». Это было как раз то, что нужно. Мы бродили по дорожкам, почти не приближаясь к звукам выстрелов. Я делал вид, что они меня совершенно не интересуют, головы не поворачивал в ту сторону. Увка их слышала отлично и явно привыкала. Поездка за поездкой. Мой друг охотовед и знаток собак Модест Калинин живет со мной в одном доме и, естественно, был свидетелем наших походов. Не одобрял: «Безнадежно. Готов спорить». Ну что ж, поспорим. Я настаивал на своем.

Наши прогулки постепенно приближались к траншейному стенду. Там на краю площадки скамейки для зрителей. Пришел день, и я сел на одну из них с Увкой на поводке. Она на всякий случай держала голову на моих коленях. Мы протерпели одну серию дуплетов. В дальнейшем, сидя на этой скамейке, я выполнил свое давнее намерение — раньше никак оно не получалось — прочел «Сагу о Форсайтах», а Увка?.. Увка совершенно перестала обращать внимание на выстрелы, снисходительно принимала мимоходные ласки стрелков, возвращавшихся с площадки с открытыми ружьями на плечах. Ради дела я допустил такую вольность.

Что из всего этого получилось, мне кажется, лучше всего будет понятно, если рассказать один эпизод из нашей охотничьей жизни. Мы, мои друзья Виктор Померанцев, Модест Калинин и я, приехали на открытие охоты с гончими в Псковщину. В погожее утро встали рано, покормили собак, позавтракали, смотрели, как светлеют окна, слушали нетерпеливое повизгивание смычка пегих и сами торопились. И все же я попросил час для Увки.

Валовой пролет вальдшнепов — очень плохой в этих местах — прошел, но я рассчитывал, что сколько-то еще осталось в мелкоколесье вокруг поля. Увка пошла большим ходом, пересекая полянки и островки леса. Не так

скоро — а мне показалось безумно долго — замерла на стойке в овражке под совсем уже облетевшими осинками. Первым заметил и побежал с поля к роще Виктор. Я крикнул: «Не торопись! Спокойно! Не сорвет». Ирландочка моя крепко стояла, поджав переднюю лапу и подергивая неудобно поставленной задней. Мы подошли. Я сказал, помнится, каким-то хрипатым голосом — волновался, что может быть пустая стойка или рябчик: «Я буду посылать. Заходите по бокам и чуть вперед, он побежит — низ чистый. Вперед!» Уверь шла туго, высоко подняв голову, иногда еле заметно шевеля ушами. Понимаю, что ведет по чутью, но иногда слышит впереди птицу. Каждую минуту ожидая вылета, мы шли мучительно долго. Вальдшнеп вылетел, как всегда, неожиданно. Заворковал тугими крыльями, на миг показал свою рыжесть, длинный клюв и скрылся за двумя густыми елками. Его проводили два бесполезных выстрела. Уверь легла.

Мы сели на бревнышке покурить и обсудить. Я не выдержал приличествующей паузы, поторопился: «Ну как? Видите — ни вальдшнеп, ни выстрел нам больше не страшны». Модест развел руками, но и тут не сдался, сказал: «Исключение подтверждает правило». Более экспансивный, свидетель давнего спора, Виктор вскричал: «Молодец, Увка! Я так и знал, что Лешке удастся!» Весело и победно я шел к дому, вспоминая прошедшее, такое горькое и трудное. Радовался и правильной догадке: не будет бояться выстрела — не будет бояться и птицы. Дело было сделано, жизнь продолжалась.

Уверь знала, что я люблю охоту, и разделяла со мной эту страсть. Наперечет помнила все вещи, так или иначе связанные с охотой. Стоило мне только вытащить из кладовки большие сапоги, снять со стенки ружье, даже свисток или компас, как Увка начинала волноваться:

бродила по комнатам и внимательно выслушивала мотор подъезжающей машины. Вот уж тут-то она твердо занимала место у входной двери, без меня, мол, не успеете! В деревне она выскакивала из дома и за калиткой останавливалась, с нетерпением наблюдая. Если я делал несколько шагов налево, начинала прыгать от счастья и носиться взад-вперед в сторону ворот из деревни. Если я шагал направо, к озеру, то мигом срывалась под угор, и слышался стук лап по дюралевому верху казанки — она уже ждет там.

Я заметил, что она хочет как можно больше помогать в наших охотничьих делах. Была она уже опытной работницей по болотной и лесной птице, когда я стал брать ее на утиную охоту. В первый же раз она по собственному почину бросилась в воду за убитой уткой и вынесла ее на берег, а потом научилась и подавать в руки. Прекрасно усвоила все тонкости работы по водоплавающей дичи: шла позади, когда я обходил узкие озерные камыши; пущенная в поиск, становилась по любой утиной породе на лугах или у окнищ, поднимала на крыло из крепей, уверенно разыскивала моих и чужих подранков.

Уже в год возрождения удивила меня и обрадовала анонсом. На вальдшнепиных высыпках, после моего дальнего и, видимо, неудачного выстрела, исчезла. На долгие, настойчивые свистки вышла на опушку леса, но ко мне не подошла, постояла и, как-то по-особенному пригнув голову, мягко повернула и пошла назад. Я поспешил за ней, она долго вела и стала над затаившимся подранком. С тех пор она самостоятельно начала постоянно приходить с докладом. Особенно любила приводить к вальдшнепам. Так складывалась наша охотничья жизнь, и мы с Уверью были довольны.

Домашняя жизнь ее была размеренной, организованной и спокойной. В городе, выполнив ритуал утрен-

него приветствия, она досыпала некоторое время на подстилке в своем закутке, потом шла гулять. Так можно сказать потому, что кто-нибудь по ее просьбе открывал наружную дверь в садик, и она гуляла строго в его пределах, хотя он давным давно лишился ограды. Ела она на веранде, получив приглашение и разрешение. Долго гремела алюминиевой плоской, вылизывая ее до молекулярной чистоты. Днем бродила по квартире, меняя место отдыха или рассчитывая хотя бы на мимолетную ласку семейных. Бродила свободно за исключением двух случаев: как только она замечала, что накрывают на стол, немедленно уходила на свою подстилку и находилась там до конца обеда. Второе исключение — секрет и юмор семьи — ее добровольный уход в заднюю комнату, когда приходил мой сослуживец М. При первом же посещении я заметил, что он чем-то стеснен и постоянно поглядывает на Увку. Я догадался, что он панически боится собак, — попросил Увку пойти в другую комнату. Так повторилось раза два или три, с тех пор при появлении М. она, издав носом какой-то укоризненный звук, сама поднималась и уходила. Среди всех проходящих совершенно четко отличала охотников и бурно привечала у входа в квартиру. Их было много, но она запоминала каждого и навсегда после первой же совместной охоты.

Вечернее ее место было рядом со мной у письменного стола. Весь вечер до второй прогулки в садике. Скучная городская жизнь.

Другая, любимая нами обоими, начиналась с переезда на лето в деревню. В длительном пути — это полтора дня и с ночевкой — она вела себя совершенно спокойно, ее не укачивало, только не спала, а старалась как можно ближе посунуться к окну и наблюдать. Ночевали мы в попутных гостиницах, подогнав машину поближе к окну номе-

ра. Увку оставляли в машине. Не везде разрешают брать собаку с собой, и, кроме того, считалось, как это ни смешно, что вор увидит собаку и испугается, говорили шутя: «Пусть только сунется — Увка разорвет его в клочки».

Деревенская жизнь начиналась резким переломом: мы подъезжали к нашей избе, с Увки снимали ошейник — теперь до осени. Открывалась дверца машины, она соскакивала на траву и с этого момента становилась совершенно самостоятельной. Прежде всего бежала на озеро пить и принять ванну, поплавать. Ночью — в доме, днем — «загорание» на солнце врастяжку на траве, если жарко, переходила в тень. Про охоту я уже рассказывал.

Так мы прожили десять лет. Уверь внешне изменилась мало, чуть огрузла, морда поседела. Охотой продолжала увлекаться, работала прекрасно, энергично, только поиск замедлился.

Весной в городе случилась беда — Уверь пропала, вышла погулять поздно вечером и не вернулась.

Все наши поиски были безрезультатны. Мучительное, тревожное время. Во сне я видел, как ее убивают, днем старался об этом не думать. А может быть, она попала к плохим людям — не кормят нашу Увушку, бьют ласковую, держат на цепи, а ей домой хочется, где все ей знакомо и мило, где все, все ее знают и любят гладить.

Прошло больше месяца. Выступая по телевидению, попросил разрешения показать фотографию Увери и обратиться с просьбой вернуть.

На следующий день раздался телефонный звонок: «Ваша собака, видимо, у нас». — «Ой! Говорите скорее адрес, я сейчас, на такси...» — «Нет, привезу сама, хочу убедиться, что вы действительно ее хозяин. А мы ее полюбили».

На лужайке против нашего дома играли ребяташки. Они увидели, что женщина ведет к ним собаку, и закри-

чали: «Увка! Увка нашлась!» Через минуту наша собачка прижалась к груди моей жены и плачуще повизгивала. Привела Уверь милая, культурная женщина, она сразу поняла, что это истинный дом собаки. Рассказала, что мальчишки на Гражданке (это на краю города, километров шесть от нас) увидели на пустыре лежащую большую собаку. Она «тихо лаяла одним воздухом» и не могла встать. Оттуда ее унесли на руках в многоэтажный дом недалеко от пустыря и выносили. Осталась только небольшая хромота задней ноги.

Вернулась наша собачка: всем вокруг, нам особенно, радостно. Началась как бы новая жизнь, но невеселая, замкнутая стала Уверь, что-то в ней сломалось, и здоровье не то: мало движется, прихрамывает и без конца просит пить. Мы решили, что в деревне — отъезд был близок — все пройдет. Приехали, и показалось, что все пошло на лад. Уверь дома на своем месте или на травяном пляже, или идет к озеру. Вот только купаться перестала и все пьет и пьет, все сильнее припадает на заднюю ногу и медленно поднимается на крыльцо, даже просит помочь. Ночью иногда болезненно стонет.

В ласковый, не жаркий и не холодный, очень ясный июньский день Уверь сошла со своего пляжа и легла в тени у фундамента дома. Я работал в своем кабинетике. Пришла жена, сказала: «Кажется, Увка умерла» — и заплакала. Я выбежал. Уверь лежала недвижно. Сел, положил руку на мягкую шерсть головы и понял, что это конец.

Мы похоронили ее на усадьбе рядом с могилой ее подруги, веселой гончей Радолью, застывшей в полынье на озере три года назад. Вырыли глубокую сухую могилу. Решали, как дальше: собак в гробах не хоронят, а сыпать землю прямо на лицо, на глаза, на губы невозможно. Жена зашила Уверь в простыню. Мы несли ее к могиле, и я вспомнил блокаду. На земляной холмик положили

много роз из пышного в это лето куста, потом принесем и посадим для них — лесных охотников — папоротник-орляк.

Стояли у могилы, и нам хотелось и для нее и для себя придумать что-нибудь утешительное. Решили: хорошо, что Уверь умерла не в каменном душном городе, а в деревне, которую так любила, и могила на крутом озерном угоре, откуда широко видны и тихие плесы, и лес, и поля. Подумалось: вот бы и нам здесь...

Я уходил от могилы, был светлый красивый день, озеро сияло, ласточки щебетали как-то особенно громко и весело, а я безобразно плакал, хныкал, как побитый мальчишка, и не было стыдно. Почему не плакал, слезы не пролил, когда провожал одного за другим друзей и родных? Почему? Что-то есть в собаках и, пожалуй, в лошадях беззащитное и бескорыстно трогательное. У них часто печальные глаза, и я знаю почему. Они так нам близки, так все понимают и, конечно, хотят сказать, может быть, очень важное, подходят, смотрят вам в глаза, открывают рот, а сказать и не могут. И я знаю, чтобы облегчить эту муку, надо притронуться рукой к мягкой шерсти, только с доброй душой, не с владычеством, а чтобы показать общность. Я не убрал подстилку в углу за шкафом. Проходят дни, постоянно слышу, как Увка цокает когтями по полу в соседней комнате, по ночам слышу, как она сладостно урчит и позевывает в своем углу. Слышу и отрицательно трясую головой — ведь не может быть, нет моей Увери. На переломе лета, в колдовскую Иваново-купальскую ночь, плохо спал, сквозь сон услышал — кто-то осторожно царапается в наружную дверь и попискивает тихонько. Ба! Да это Уверь погуляла и просится домой. Опять! Ведь она ушла, ушла навсегда.

Трезвым утром, когда солнце пришло ко мне на письменный стол и сошло ночное колдовство, оставив ра-

боту, откидываюсь в кресле и думаю: «Скоро придет охотничья пора. Я не брошу охоту, нет! Но будет плохо без тебя, моя Уверь. Я буду в одиночку бродить по камышовым озерным берегам, стрелять уток и длинной палкой доставать. Вспоминать, как это ты отлично и с видимым удовольствием проделывала. На вальдшнепиных высыпках буду охотиться презируемым с юных лет самотопом, держа, как немецкий солдат автомат, ружье наготове, и буду вспоминать твою красивую мастерскую работу, быстрый ход, доклад и твердую картинную стойку. Если устанут или откажут ноги, все равно буду сидеть в скрадке, поджидая вечерний прилет кряковых на кормежку. Буду вспоминать, как ты терпеливо и спокойно сидела в шалаше рядом, ожидая просьбу принести.

Больше никогда не заведу собаки. Слишком короток срок их жизни в сравнении с человеческой. Слишком тяжелы расставания.

А может быть, лучше именно сейчас принести в дом веселого щенка и не думать о жизненных сроках? Печаль расставания достанется ему.

18.IX.1988 г.

д. Домовити

ПРОЩАНИЕ С ПИКОМ

Как у всякого фанатичного любителя островных легавых, к спаниелям у меня отношение добродушно-ироническое. Это такие маленькие собачки, очень славные, немного смешные — вроде недоростков сеттера, очень удобные для комнат и мало пригодные для охоты. Както странно заводить подружейную собаку по перу, которая спугивает дичь. Самое-то главное в работе легавой — стойка, неподвижность ее. Вы видите, можете подготовиться и подойти. А тут, пожалуйста, иди, все время

ожидая взлета, хорошо, если он окажется на выстреле. В общем, похоже на презираемый всеми настоящими охотниками самотоп. Никогда не мог согласиться с другом и учителем своим, Виталием Бианки, всю жизнь предпочитавшим держать именно спаниелей. Он даже писал, обосновывая свое предпочтение:

«...Вот почему я не держал легавых собак, собак со стойкой: мне казалось нечестным, сковав птицу страхом перед застывшим над ней зубастым зверем, не торопясь подойти к тому месту, где она затаилась, и, приказав собаке поднять ее на крыло, хладнокровно застрелить при взлете. Я предпочитал спаниелей... только разыскивающих своим чутьем птицу и скорее помогающих ей спастись от охотника, чем охотнику — застрелить ее».

В этих строках романтическое преувеличение свойств легавых — гипноз собачьего взгляда и даже некое фари-сейство. Большой охотник был Виталий, знал, где найти дичь, отлично стрелял и добывал помногу. Говорю это не в укоризну, в те времена для писателя частенько охота была основным средством существования.

Так вот, не по душе мне эта порода, даже посмеивался, читая в книге о спаниелях, что хвостики у них купируются так, чтобы оставить обрубочек, удобный для захвата ладонью, если собака устанет плавать в водорослях. И еще одно преимущество — собачка легко помещается в заплечный мешок, если надо переходить топкое болото. Много пришлось мне походить с легавыми, гончими и лайками, но нужды в их вытаскивании и таскании не было. В общем, многие охотники считают эту породу комнатной, подшучивают: «спали-ели».

В ту весну я, как всегда, жил в деревне. И вот такая получилась история. Привезли мне собаку, попросили подержать лето. Люди мне близкие — отказать трудно. Беда, что семья эта житейскими делами загруженная, не

собачья — первый раз держат. Догадывался, что это будет за существо, подумалось — ладно, щенку только три месяца, что-то можно исправить.

Привезли, оставили, сказали: «Это Пик, имя ничего не значит, первая буква должна была быть „П“. Может быть, пригодится для охоты». Попрощались, помахал я с крыльца руками, жена пошла провожать. Остались мы вдвоем.

Передо мной сидел щенок спаниель, явно породный и, наверно, рабочих кровей, наверно потому, что доставали в секции почти что для меня, да и фамилия у хозяев спаниельная. Окрас интересный: по белому так много черных пятен, что весь кажется серым. Голова и уши черные, на лбу белое латинское «V», мочка носа совсем черная, а глаза цыганские.

Песику надоело сидеть, он прошел три шага, пощеньяему не поднимая ногу присел, сделал лужу и сразу же попросился в дверь на улицу. Выпустил его и, стоя на крыльце, печально задумался. Не к месту была эта собачонка. Совсем недавно здесь, в этом доме, утасла от старости общая любимица, ласковая красавица Уверь. Годы мои не малые, решил больше собаку не заводить, а тут еще спаниель и явно до предела распушенный. Не к месту, совсем не к месту. Однако факт есть факт.

Пик скоро вернулся, предпринял бойкое обследование кухни, подняв передние лапки на залавок, носом спихнул крышку латки с котлетами, обнаружив наличие чутья. Удивился на мой окрик, убежал в соседнюю комнату. Ко мне пришли люди, я не сразу стал его искать — нашел спящим на диване, предварительно он облегчил желудок тут же рядом, прямо на крашенный пол. Выгнал на улицу — бесполезно, поздно.

Ошейника на Пике не было. Порылся в своих запахах, нашел, конечно, слишком большой. Надо было по-

рядочно укоротить. К этому времени щенок лежал под лавкой, вяло пережевывая мой носок. Чтобы определить, где сверлить новые дырочки, надо было примерить. Положил ремешок песику на шею, хотел продеть в пряжку — и отдернул руку: острые, как шилья, зубы вознзились мне в пальцы. Я знал, что испугаться, уступить нельзя, ни боже мой, иначе в дальнейшем будет плохо. Шлепнул безобразника по мордочке, прикрикнул и продолжал мерить. Маленький демон опрокинулся на спину и кусался, кусался. Размеченный, наколотый ошейник надо было надеть. Неприятно было, больно, но я с этим справился и пошел мыть и обрабатывать йодом руки.

Подстилку положил, как всегда, за шкафом. Вспомнил Уверь, просил прощения: «Увушка, ты добрая, ласковая, не сердись на том свете. Ведь он щенок, а помнишь, какие у тебя были бархатные красавцы, слепые комочки, ты их любила, и этот еще маленький». Я скрыл от нее искусанные руки. Пик тоже про них забыл, видимо, устал с дороги, понял, кому я готовлю место, сидел, покачивая головой, наблюдал — плюхнулся на подстилку и затих.

В четыре часа утра раздался пронзительный нетерпеливый визг. Зажгли свет — все дела и делишки на полу, а собака хочет гулять.

Так началась жизнь Пика в нашем приозерном доме, и была она обоюдно трудной. Необыкновенно живой, вечно играющий с чем-нибудь, он носился в пределах сада, к счастью не зная, как из него выйти. Гулял, увлекался и все же успевал, когда приходила нужда, проникнуть через одну из двух наружных дверей и выполнить потребности на твердом полу дома. Я был удивлен. Много позже узнал, что его в городе не выпускали на улицу: врач посоветовал держать дома до прививки во избежание инфекции. Вот и приучили.

Радовал аппетит малыша и полная неразборчивость в пище. С одинаковым удовольствием он поглощал и хлеб, и молоко, картошку, грибной суп, сырую морковку, яблочную кожуру. Если на кухонном столе появлялось сырое мясо, он не отходил ни на шаг, ни на секунду и тихо стонал от энтузиазма. Стоило только взять в руки его алюминиевую плоску, как он принимался оглушительно лаять и прыгать на человека. Я выносил еду на улицу, поставить ее на траву было непросто: он бил лапами и совал черную мордочку в плоску, когда она была еще в воздухе. В первый же раз я сказал ему «нельзя» и надавил на спину. Он укусил меня за палец — и вот чудо: на третий день песик уже садился перед плоской и ждал разрешения.

Труднее всего было приучить его к аккуратности. Я сходил в лес, нарезал тонких прутиков и разложил их на видных местах по всему дому. Кто заметит неладное, немедленно должен был реагировать. Конечно, больше строжить, чем бить. Последнее в нашей семье было не принято, пришлось сделать исключение для злостного рецидивиста. Дело все же подвигалось плохо. Помогло установление твердых часов кормления и неусыпное наблюдение за безобразником. Долго он еще просился в дверь, когда хотел гулять, а не тогда... Я старался выгуливать его как можно позже — в двенадцатом часу, и вытаскивал рано утром, когда еще самому очень хотелось спать, а Пик отказывался вставать и приходилось пристегивать поводок. Трудные дни, канительная работа, и все же недели через две Пик вел себя дома как полагается. Прутики не выбросили, с ними легче было объяснять, что диван в большой комнате не пристанище для дневной дремы, а ревизия кухонных кастрюлек и плосек — дело запрещенное. Песик оказался понятливым. Очень скоро, как только мы садились обедать

и я черенком вилки два раза стучал по столу, он без всякой обиды уходил на свою подстилку и появлялся, когда разливали чай.

Пик стремительно рос, вырослел и набирался ума. К дому и людям прижился. Женщины с удовольствием оставляли ему кусочки от обеда, а мне была приятна привычная «собачность» в комнатах и дополнительная ласковая приветность.

Как то раз он пришел ко мне в кабинет, послушал машинку, сел, молча сверлил меня цыганскими глазами и — наверно, мне так показалось — кивнул головой на выход, на улицу. Ему явно хотелось на волю. Какое мне до этого дело? Комнатная дрессировка пройдена, а работа в поле? Не собирался охотиться со спаниелем, никогда не собирался. И вообще решил собак больше не заводить. Сиди дома, черноглазый.

Кончилось это дело тем, что Пик нашел дырку в заборе, а из деревни пришла женщина и спросила: «Это не ваша собачка моих кур гоняет? Два яйца потеряли». Такого терпеть нельзя. Кроме того, доктор сказал мне, что надо поменьше работать, побольше гулять.

С вечера я нашел коробочку из под леденцов, положил туда кусочки печенья, приготовил шерстяные носки, кеды, чок-корду* и снял с лосиного рога старый, соскучившийся свисток на длинном сыромятном ремешке. Все как раньше при натаске очередного ученика. Не думал, что придется...

Рано утром, когда все еще спали, надел старую куртку, пахнущую лесом, потом и порохом, и заслуженную финскую шапку с козырьком и значком — металлическим тетеревом. Поднял с постели Пика, и мы тихонько вышли из дома.

* Чок-корда — длинная прочная веревка.

За околицей, в поле, выпустил собачонку и только ее и видел. Далеко за бугром раздался неистовый лай — мимо меня промчался жаворонок, за ним со всех ног Пик. И так — погоня с лаем — длилась полный час. Менялись только объекты гоньбы: ласточки, трясогузки, дрозды, зяблики. Все поля избеганы, сил больше нет, язык до земли. Я сказал: «Сядь! Отдохни и подумай!»

Не приходилось учить спаниелей. В голове какие-то обрывки из книг и разговоров: «Они малорослые, потому надо заставляя сидеть, а не ложиться. Лежа им из травы ничего не видно. Должен ходить так, чтобы вылетающая дичь была на выстреле. Обязательный аппорт».

Сто чертей было в этом маленьком зверьке. Он носился по выгону, возбуждая тревогу у наблюдавших ворон. Если трава чуть повыше, начинал прыгать, как мячик, вскидывая уши. В высокой траве невидимо струился так энергично, что по вздрагивающим метелкам можно было проследить его путь. Он преследовал все, что летит, двигается, — это щенячье, а когда начинал опускать голову и нюхать следы — это было уже охотничье, кровь говорила. Способный песик. День за днем хожу с ним по утрам гулять и учу, и все для него новое, и все прибавляется: приходит пулей на длинный свисток, садится с любого хода по короткому и ждет, что подойду, похвалю и дам кусочек печенья. Ходит без поводка у ноги, долго, как привязанный, но стоит только посадить и скомандовать: «Але!», взвивается с восторгом. По приказанию вскакивает в лодку и сидит смирно, как бы ни качало, пока не пристанешь к берегу. Деревенские развлечения бросил, пренебрегает овцами и курами, словом, воспитанный песик, прямо культурный, очень приветливый и не кусается.

Мы возвращались усталые, с мокрыми ногами прямо к завтраку. Домашние только что поднимались. На ули-

це было уже жарко. Мы могли бы рассказать, какое было дивное утро, как уходил с озера, скручиваясь в белые столбы, зоровой туман, просыхала роса и большое, еще не греющее солнце уменьшалось и раскалялось добела. И кому из домашних дело, что мы своими глазами видели, как ястреб-тетеревятник схватил вяхиря и, когда я крикнул, выпустил из когтей и обиженно улетел в лес и что над озером на страшной высоте прошла стая гусей, рановато, конечно, — еще не пролет.

В такое ласковое утро мы с Пиком шли по полям. У меня вмиг намокли кеды, а Пик в первой же траве набрал на шерсть столько воды, что проявился темный крап, и стала собачка почти черной. Среди обширного кошеного луга — небольшой лиственный клочок: две березы, несколько осинок, ивняк и некоесь выше пояса. У березы сломана ветка, я подошел, оторвал ее и понюхал — пахнет палым листом. Это всегда так, раненые деревья пахнут осенью. Рядом в самой густоте взлаял Пик и выскочил на открытое, на кошеное. За ним вылетела тетера. Большая, не сравнимая с теми птичками, что он гонял по полям у дома. Пораженный Пик прыгнул на метр, не меньше, всем, чем только мог: ногами, туловищем и всего заметнее — черными ушами, вздернутыми прямо к небу. Он почти поймал эту огромную птицу, чуть-чуть осталось до ржавых перьев хвоста, а она, то припадая к траве, то поднимаясь, летела дальше. Взвизгнула моя собачка — уж эта добыча не уйдет, не ласточка-пичужка! Это не я, это он так думал.

Я сел на камень и, посмеиваясь, наблюдал, как тетера отрастала все больше и, то частя крыльями, то планируя, взмыла на опушке и исчезла среди вершин. Пик пропал и вернулся не скоро. Я не сердился, я знал, что он никогда не забудет этой встречи, что запомнит все: и шум крыльев, и пестрые перья с белой оторочкой, красную

бровь, черный глаз и, конечно, запах, сильный и манящий. Сегодня же, завтра — да что там говорить — всю жизнь будет искать эту птицу.

Пик пришел огорченный и взволнованный нелепой неудачей. Я не дал ему подойти к месту взлета, усадил, взял к ноге, увел. Понимал, что тут рядом в траве затаились тетеревята, и, бог знает, чем могла закончиться их встреча с Пиком.

Мы перестали ходить в поле, катаемся на лодке, учимся доставать палочку из воды и непременно отдавать ее в руки. Оказался он очень водяным, для него не было вопроса — входить или не входить в воду, он бегал по берегу и, не замечая перехода, плавал так же естественно. Против нашего дома на озере есть остров, что-то заинтересовало там Пика. Он переплыл довольно широкий проток, долго детально обследовал остров и вернулся тем же путем. Один раз мы с женой на лодке, отъехав уже далеко от берега, заметили позади черную точку — кто-то плыл. Оказался Пик. Он прибежал на берег, заметил нас и решил присоединиться. Пришлось его за шиворот втащить в лодку, где он благодарно отряхнулся у наших ног.

И вот в этот раз — да, кажется, в этот — мы высадились на остров поискать грибов. Пик носился вокруг нас и... вдруг остановился, прыгнул и замер. Я подошел. В зубах у него было утиное перо. Из зеркальца кряковой, нарядное, отливающее всеми опенками синевы. Выглядело оно красиво и, думается, отлично пахло. Пик сидел недвижно, лицо у него было как у человека, схватившего неопознанный предмет из космоса. Совсем неожиданно стали падать листья, очень немного — все решили: это не осень, просто были жаркие дни. Но почему шуршит трава под ногами, пропали стрижи, покраснела и налилась брусника? Почему притихли крики ребят-купальщиков?

Подходил срок охоты. За лето Пик вырос, превратился в сильную собаку с прямой спинкой, широкой грудью и крепкими лапами. Послушную собаку с большим темпераментом и ярко выраженной охотничьей страстью. Я без конца представлял себе, даже во сне видел, как вылетает из чуть пожелтевшего камыша кряква. Она всплеснула на подъеме, поднялась совсем близко, так, что я хорошо различаю плоский клюв, длинную шею и синее зеркальце. После выстрела она плюхается на воду. Уголком расходится волна от черной головы Пика. Он волнуется, торопится, хватается утку и торжествующе тащит ко мне. Я видел, как на кромке овсяного поля начинает крутить хвостом и подпрыгивать моя собачка, тянет в густой ивовый куст, оттуда с шумом выбирается косач и как синий шар тянет прямо на штык. В конце концов, можно и на болоте попробовать, только держать поближе и заметить, как ведет себя перед дупелем, как показывает.

Я не взял его с собой в день открытия охоты, вообще не брал на охоту. Спокойно снимал со стенки ружье — на это Пик внимания не обращал: не понимал. Закрывая калитку, приказывал: «Дома! Оставайся дома». Труднее было с дичью. Приносил в рюкзаке в кладовку. Он имел дело только с жареными косточками и вряд ли особо отличал от любых других.

Почему я так решил? Почему так поступил, хотя и стыдно было смотреть в честные цыганские глаза? Я приобщил его к природе: полю, лесу, болоту, озеру, к широкому поиску, к блаженной усталости после большого похода. Это вошло в его жизнь накрепко. Когда я заболел, он по утрам не прыгал и не взвизгивал, подходил к кровати, клал голову на крайчик одеяла и выразительно вздыхал.

Что, если бы я подарил ему и охотничье счастье? Азарт осмысленных розысков, выстрелы, погоня, пойманная

птица в зубах. Это вторая жизнь для кровной собаки. Но подходит ли она для Пика? Что ждало его в семье, в городском доме? Для тещи ненавистен, для жены безразличен, муж не охотник, и ему некогда, мальчик хороший, ласковый, но он уже поиграл. Что осталось бы у Пика от охоты? Вечная тоска и сны: погоня, подергивание лапами на месте и гнусавое повизгивание.

За ним пришли. Я собрал его в дорогу: ошейник, поводок, намордник. Он не отходил от меня. В дальней комнате я взял его за щеки и поцеловал в белую букву «V» на середине головы. «V» — виктория, победа. Ни у меня, ни у него победы не было. Я стоял на крыльце, его уводили на поводке, он смотрел на меня и шел как бы задом наперед. Он видел, что я печально развел руками. Если бы он был человеком, то пожал бы плечами, и не просто, а с укоризной. Он не знал многого.

ОХОТНИЧИЙ РОГ

Он всегда сидел на кровати у стола и внимательно, неотрывно смотрел на печную занавеску. Занавеска не шевелилась, и за ней, на печи, кроме подойника, лучины и стоптанных валенок, ничего не было. Но не все ли равно, на что смотреть, если глаза ничего не видят?

Годы почти не тронули его густых, отливавших цыганской синевой волос, но глубокие складки на лбу и щеках пересекались частой насечкой морщин, а тяжелые, словно уставшие, кисти рук почти всегда лежали на коленях.

Его час приходил под вечер. Изощренным, необыкновенно тонким слухом, раньше всех, улавливал он наши шаги.

— Саша! — говорил он, не шевелясь и не оборачиваясь. — Подогрей самовар, охотники идут.

Мы вваливались в избу с клубами морозного пара, шумные, веселые, холодные. Собаки прорывались в комнаты, постукивая льдинками, пристывшими к лапам.

Старик не двигался, только чуть улыбался, улыбался потому, что тетерева пахли снегом, зайцы — кровью, собаки — сладковатым медовым запахом псины, и все это было ему знакомо и любо с давних пор.

После обеда, когда отогреются пальцы на ногах, за последним стаканом чая, не раньше, чтобы не было никакой помехи, кто-нибудь из нас должен был подробно рассказать все, что случилось за день. Начинался второй поход. От крыльца по огородам в поле, через мостик на вырубку и дальше в лес по тонкому льду ручья, вдоль тропинки в молодом ельнике к дальней мшарине, по просеке в болотистой кромке на лесные покосы, от них — на кряж и по нему, через поле, домой. Нельзя было пропускать ни шагу пути, ни часа времени. Он шел с нами легкой ногой, по знакомым с детства местам, волнуясь, слушал гончих, стреляя белоснежных зайцев, мелькающих в частом осиннике. И как он радовался удаче и досадовал на промахи!

Это был его час, час торжества неугасимой охотничьей страсти!

— Значит, он ее к самым Вешкам уводил? Скажи пожалуйста!

А ведь в лягах лед не держит, поди в заколенниках не пройти. Молодец. Говорушка, вернула! Слышал я про этого белячишку. Подберезовского Николая собачонка его не раз туряла. И ты его с первого?

Мы были заботливыми и внимательными спутниками старика на его невидимой охотничьей тропе, а он — строгим судьей сложного охотничьего дела.

В этот день мы закрывали охоту по перу и начали мечтать об охоте с гончими.

В прозрачных, шуршащих палым листом ольшаниках по берегам лесной речки сбилось много пролетных вальдшнепов. Плотные пером, ленивые, они хорошо выдерживали стойку, неохотно поднимались и отлетали недалеко. Охота была хорошая.

Одному из нас даже удалось в теплый, почти жаркий полуденный час с очень опытной легавой прижать к опушке и выгнать на чистое место сторожкого косача.

Неторопливо, слегка дрожащей рукой старик прикоснулся к каждой птице, у тетерева тронул клюв, брови, погладил тугие перья.

— Валешень весь пролетный, ни одного мостового. И не диво — тот давно должен уйти. Черныш молодой, а гляди, как вымахал, поди, ни одного рябого перышка нет. Разве под клювом...

Вечером за столом разгорелся спор.

— Я просто не понимаю, — горячился Борис, самый младший из нас, — как можно называться охотником и говорить, что обстановка охоты не имеет никакого значения! Вы что же, и на помойке могли бы охотиться?

— Вполне мог бы, — спокойно ответил Горелов, — и именно на помойке, самая лучшая моя охота на пролетных дупелей была под городом, на краю Васильевского острова, на свалке. Помню, как спотыкался о какое-то железо, вяз в противной жиже, крушил ногами фаянсовые осколки... Но собака работала хорошо, стрелял я удачно, дупеля было много. В общем, ту охоту никогда не забуду!

— Хорошо, пусть так. Но почему же вы держите хорошую легавую, почему у вас дорогое ружье, а не какая-нибудь кочерга-берданка? Почему прошлой осенью, когда вас звал с собой местный охотник, — помните, он

привел с собой какого-то уroda и сказал: «...У меня не кровный, а верблюдок, но работает хорошо», вы пошли с нами, с Говорушкой?

— Помню, прекрасно помню, но если б знал, что верблюдок лучше Говорушки, непременно пошел бы с ним. И кровную легавую, и дорогое ружье держу только потому, что они лучше работают.

— Ходили бы целый день с верблюдком? Любова-лись на этого урода и слушали его деревянный лай?

— Конечно, мне совершенно безразлично, какого цвета собака, каков у нее хвост — хоть помелом, хоть веером, — лишь бы хорошо гнала. А пусть она козлом блеет, курицей кудахчет, только бы надежно держала зайца — до убоя.

— Черт-те что говорит человек! — возмутился молчавший до тех пор четвертый из нас, морской офицер в отставке. — Каждый понимает: в гончей охоте самое главное — гон. Чтобы песня была! А заяц что? Шерсти клок...

Моряк вышел из-за стола, лег на кровать, блаженно потянулся и добавил:

— Вы, Горелов, сами не верите в то, что говорите. Или парня дразните. То и другое ни к чему.

— Совершенно верно, не верите! — вскинулся Борис.

— Не сердитесь, Боря, это вам не идет. Просто не люблю этих внешних аксессуаров и нелепых традиций, принятых у городских охотников. Главное — целесообразность, и только целесообразность. Остальное, начиная с так называемых истинно охотничьих традиций и диких несуразных терминов вроде «отрыщ», «дбруц» или четырех названий одного и того же собачьего хвоста и кончая нелепыми побрякушками вроде значков и специальных шляп с перьями, в которых щеголяют наши западные собратья, — чепуха, форменная чепуха.

— А вы подумали, куда может завести эта ваша целесообразность? Сегодня мы шли по разным сторонам поймы. Вы свистели в свисток с горошиной. Я каждый раз вздрагивал, когда слышал его трель; казалось, вот-вот появится милиционер и скажет: «Гражданин! Здесь ходить не положено». Вы, вероятно, и гончую свистком наманиваете?

Горелов положил на ладонь пузатый свисток, висевший у него на шее на прочном сыромятном ремешке, осмотрел его, словно видел первые, помолчал и терпеливо возразил:

— И здесь вы не правы. Свисток слышно далеко, а так как он с горошиной, то мой Джим его сразу же узнает, а ваша собака не обратит внимания, это удобно, когда двое охотятся по соседству. И я не шутя говорю — свою молодую гончую буду приучать к свистку, а не к архаическому рогу. Впрочем, мы с вами забыли, что о вкусах не спорят.

Горелов откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, давая этим понять, что считает разговор оконченным.

В избе стало жарко. Борис ушел и тотчас вернулся:

— Красота-то какая на улице! Тихо, приморозило, земля хрустит, пойдете послушаем первую заячью ночь.

Он снял со стены гнутый медный рог. Мы вышли на крыльцо. Зеленая зорька, узкая и неяркая, гасла над просторными озимыми полями. На полуночной стороне темное небо по-зимнему щедро было наколото звездами. За лесом бледнело далекое зарево — отсвечивали огни города. Он казался близким, но мы знали, что до него раскинулись поля, лес, покосы, речки. Долгий мох, а за ним опять леса, реки, поля.

И не только в сторону города — всюду вокруг нашего домика лежала огромная земля, притихшая и стынувшая, потому что ушли тучи и ничто не укрывало землю от холодного провала неба.

Мы знали, что русаки уже вышли на озимь и мягкими, как вата, лапками неслышно переступают по седой от инея зелени, по железным комьям пашни; что за полем вдоль ручья бредет лисица, осторожно прислушиваясь к шороху замерзающей воды.

Борис глубоко вдохнул воздух, не спеша продул рог и вдруг подал в него резко и напевно: «Та-и! Та-и!»

Низкий вибрирующий звук разлился далеко-далеко, торжественно и властно, а за ним, словно вдогонку, высокий, стонущий — еще дальше и звонче.

«Та-и! Та-и!» — еще раз пропел рог.

Во дворе брякнула цепь, и тихонько заскулила, как заплакала, Говорушка.

Далеко-далеко от домика, в кордоне лесника, отозвался альтовым голосом старый выжлец Дунай.

— Помните, у Бунина? — негромко сказал моряк:

...Томно псы голодные запели...

Встань, труби в холодный звонкий рог!

«Та-и! Та-и!» — протрубил еще Борис.

Я вспомнил, как трубили сбор после большой облавы. Давно это было — мне тогда едва минуло одиннадцать. Зайцев погрузили на подводу, меня посадили туда же.

Я мельком поглядывал на ровные ряды бело-пегих зайцев, на грудки краснобровых тетеревов и любовался своими сапогами: первыми в жизни, коваными, высокими — за колена, пахнувшими дегтем.

Под ними ровно и бесконечно катился блестящий обод колеса, изредка с хрустом врежаясь в прихваченные морозом лужи.

Как давно это было, но как памятно!

Горелов оставался в избе, он дремал, сидя на стуле.

Когда Борис затрубил, Горелов открыл глаза и заметил, что старик положил руку на спинку кровати, будто хотел встать.

Лицо его вдруг оживилось. Он слышал, как вольно и далеко взлетела над полем знакомая песня рога, слышал, как отозвались на нее гончие, видел — да, да, хорошо видел, — как на озимом поле, встревоженные, вздыбились зайцы, как лисица у ручья резко остановилась, качнув плотным широким хвостом.

Горелов почувствовал, что и сам немного взволнован, и, чтобы не выдать себя, усмехнулся:

— Дети, ей-богу дети! Полюбовались на звезды, подули в медную трубку и...

Неожиданно старик нащупал на груди Горелова свисток, потянул к себе и сказал:

— А ты выйди-ка на крыльцо да свистни... что будет?..

МИЛЫЕ УРОДИКИ

* * *

Дед, отец, брат и я всегда держали охотничьих собак. С тех пор, как себя помню, помню и изящных ирландцев, темпераментных пойнтеров, задумчивых гордонов, сумрачных русских гончих, веселых искристых лаек — словом, самых разнообразных представителей собачьего рода, бродивших по дому или лаявших во дворе. И сейчас дом мой не пуст.

Держали мы и свое племя; поднимали собак со щенков, натаскивали, наганивали и охотились долгие годы. Не переводились у нас собаки... Вот и неверно сказал. Переводились. В голодные годы разрухи, в годы войны пропадали собаки, но оставалась неизбывная тяга к ним и презрение к бессобачной охоте. Вот тогда и появлялись в нашем доме взятые со стороны, неизвестные, обычно уже взрослые собаки. Попадались среди них и вполне приличные, но чаще испорченные или просто необученные. Мы привыкали к ним, и, случалось, в нашем доме подолгу жили милые сердцу уродики. Вот о некоторых из них я и расскажу.

— Тут одна моя пациентка собаку предлагает, — сказал отец, словно ни к кому не обращаясь, и протянул пустой стакан тете Зине.

Мы, трое мужчин — отец, брат и я, внимательно наблюдали за стаканом. Стакан был налит вполне доброжелательно, не рывком и не через край, и это был решающий момент в судьбе Чока. Через неделю начиналась охота, а после смерти Дианки, дельной охотницы и любимицы тети Зины, в доме собаки не было.

— Я посмотрел собаку, — продолжал отец, — кровная немецкая легавая, курцхаар. Очень крупный кобель, лет шести. Хозяин, говорят, был толковый охотник. Вдова подержала с годик в память мужа, а теперь жалуется — оставлять не с кем...

Так появился у нас Чок. Обжился он в доме скоро. Проскучал два дня, потом неожиданно, к общей забаве, принес отцу из передней ночные туфли. На следующий день по собственному почину Чок принялся таскать дрова. Возьмет в зубы полено и, весело помахивая обрубок хвоста, тащит со двора к плите.

Поноска была страстью Чока. Он мог часами таскать по дому поводок и плетку, по приказанию приносил любой предмет, даже неудобную скользкую бутылку и тяжеленный утюг. Но высшим наслаждением Чока были походы с тетей Зиной на базар. Нужно было видеть, с какой важностью и, я не побоюсь сказать, с чувством собственного достоинства нес он в зубах кошелку с продуктами! Тетя Зина была покорена.

Однажды в теплый летний день мы всей семьей сидели на крыльце. Неподалеку на лужайке пыжился и клекотал соседский индюк. Дикая мысль пришла в голову брату: он показал Чоку на индюка и скомандовал: «При-

неси!» Не успели мы опомниться, как Чок ринулся на лужайку и схватил птицу. Индюк отбивался, как мог, грозно раздувал шею, обиженно клекотал, но Чок неумолимо и все же вежливо вел его к нам, придерживая за крыло...

Настал день первого выхода в лес.

— Пойдем к Черному озеру, — сказал отец, — собак надо пробовать по болотной: тут всё налицо — и поиск, и чутье, и послушание.

Лето было на переломе. В лесу не так уж зелено, как раньше, — чуть поблекла листва деревьев, пропали слепни и оводы, тонкий аромат лесных ландышей и любки сменился медвяным запахом таволги и клевера. Тихо в лесу. Молчат зяблики, примолкла кукушка. Только ласточки, стелясь в полете над самой осокой, щебечут ласково, не тревожно, да изредка звонко вскрикивают желтые трясогузки-плиски.

Чок пошел в поиск тяжеловатым галопом на узких, но правильных параллелях. Очень скоро потянул и стал — голова довольно высоко, чуть в сторону, куцый хвостик замер.

— Вперед! — тихим от волнения голосом приказал отец.

Чок пошел легко, не задерживаясь и не торопясь.

«Джить!» — с голосом вылетел бекас и после второго выстрела камнем упал в росную осоку. Чок без приказа тем же деловитым галопом поскакал вперед, поднял, принес и подал в руки птицу, даже не обмусолив ее. Довольные, мы переглянулись.

— Как часики, — сказал отец. — Верно, что у дельного охотника в руках был. Только вот... сам за бекасом пошел. Ну, посмотрим, как поведет себя, если птица не будет бита.

Так началось это утро, и было оно счастливым. По бекасам поохотились досыта. Потом в тальниках на кромке

озера Чок нашел выводок белых куропаток и сработал их мастерски — и на подъеме, и когда они разлетелись по мху. Особенно нам понравилось, что Чок не бросался за убитой птицей или подранком, если чуял впереди другую.

По дороге домой Чок стал прямо от ноги и, по посылу, мягко подал бекаса. Птица вылетела как-то неудобно, сбоку от нас, и после четырех выстрелов забрала вверх, отлетела и упала далеко за островком камыша. Чок бросился за ней, долго искал и не нашел. Это было обидно. Мы перерыли всю осоку, без конца подзывали собаку. Все напрасно, бекас как в воду канул. Отец сказал:

— Затоптали, наверно, под воду, вот собака и не чует. Это бывает.

Всю осень мы наслаждались верной и умной работой новой собаки и ее безукоризненным послушанием. Удивляло одно: почти на каждой охоте у нас пропадал бекас, один-единственный, и такой мастер, как Чок, никак не мог его найти.

Однажды поздней осенью мы охотились у того же Черного озера. Я провалился в окнище и зачерпнул в сапоги.

— Иди, — сказал я брату, — догоню.

На сухом песчаном пяточке среди прибрежных камышей я с трудом стащил с ног сапоги и принялся отжимать портянки. Впереди хлопнул выстрел, и через несколько секунд недалеко от меня, у камышей на чистинку, упал бекас. Вскоре раздался хлюпающий галоп и появился Чок. Он не видел и не чуял меня — я был за ветром, и между нами высилась щеточка камыша.

Чок потянул носом, подошел к бекасу, оглянулся и... раздался такой звук, будто кто-то вытянул ногу из мокрой глины. Бекас исчез.

— Чок! — ужаснулся я. — Ты, образец собачьей вежливости и послушания... Ты съел бекаса!

Чок услышал меня, вздрогнул, обернулся, и... честное слово, в его больших карих глазах не было страха, а только какая-то скорбь и мольба, словно он просил меня разделить с ним его тайный грех.

ЦАРСКИЙ ЛОРД

— Привел, — сказал дядя, — знал, что вы опять без собаки, и привел. Повезло — еще денек, и другие бы пронюхали. В Лимузях у старого Августа взял. Ты же знаешь, он в Петергофе егерем служил в царской охоте. Последний царский ирландец! Посмотрим?

Мы выбежали в сад. К скамейке на обрывке веревки был привязан огромный пес, тощий, как весенняя чехонь, и до предела грязный.

— Лорд! Лордушка! — позвал дядя Лёна.

Пес помахал хвостом, заскулил, сел, как упал, и с привизгом принялся скоблить за ухом.

— Умница, все понимает, — умилился дядя Лёна.

— Кажется, действительно породистая собака, — удивился отец. — Только вымыть ее надо поскорее, и потом... Лёна, почему у него масть какая-то странная, не рыжая, а вроде шоколадная? Может быть, отмоется?

— В Петергофской кеннеле* все были такого колера, шоколадные, — отрезал дядя.

На бешеном ходу Лорд обыскивал красугу — кромку суходольного болота. За ним шли мы: отец, брат и я. Нет, это были не просто мы — за собакой шли трое влюбленных.

* Петергофская кеннеле — питомник кровных собак.

— Смотри, какой ход! Типичный волчий поскок, и скорость...

— А челнок? Так и шьет, ни одного заворота внутрь. Вот это постановочка!

— Голову ни на секунду не опустит, держит выше спины. Струю так и ловит, так и ловит... Красота!

— Вот это собачка! Что значит крови... а?

С полного хода, присев и изогнувшись, Лорд стал. Стал накрепко. Мы поспешили к нему и были уже близко, когда Лорд медленно выпрямился и прыгнул...

Выводок белых куропаток порвался, как подброшенный.

«Вак! Ва-ва-ва!» — четко прокричал куропач.

— Даун! — крикнул отец. — Даун!

А Лорд? У него действительно огромный ход — через все болото до дальней кромки проводил куропаток, вися у них на хвостах, и бросил только тогда, когда птицы взмыли над соснами.

Лорд вернулся очень довольный и лег, вывалив язык, похожий на большой пласт свежееотрезанной ветчины. Мы молчали.

Перед выходом в поле Лорд еще выше, чем обычно, задрал голову, потянул и словно на цыпочках подошел к межевой канаве. Подкрался и замер. Как он был хорош! Большой, каменно-неподвижный, с рыжими бликами солнца на атласной шкуре.

Вот мы и рядом. Легкая дрожь пробежала по спине собаки, и Лорд ринулся вперед.

— Даун! Даун, я тебе говорю...

Куда там! Тетеревята спасались, как могли, матка, припадая над травой, едва уворачивалась от наседавшего пса.

— Он поймает ее, — сказал я.

— Нет, — сказал брат, — вязок, но не поимист.

Брат в эти дни читал «Записки мелкотравчатого» и бредил псовой охотой.

Отец не сказал ни слова — он был искренне огорчен. Дома дядя Лёна выслушал нас и схватился за голову. Он даже застонал тихонько:

— Я забыл тебя предупредить. В Петергофе все старшие егери-натасчики были французы, их специально из Парижа выписывали. А ты — даун... Ты бы еще по-чухонски скомандовал... Хуже бы не было. Ведь Лорд по-английски ни слова не понимает. Ни слова! Для него это пустой звук. Надо: тубо, пиль, куш. Вот как.

Отец был сконфужен.

Однако французский язык не помог. Лорд становился, поджидал нас и прыгал. Мы выкрикивали сложное, похожее на заклинание «куштубодаун», прибавляли и другие слова. А Лорд? Лорд гнал горячо и самозабвенно, пока не терял добычу из виду. Впрочем, скоро выяснилось, для зайца он допускал исключение: упустив кого-то из виду, Лорд продолжал гнать следом, по чутью, сопровождая это недозволенное занятие визгливым лаем. Тогда надо было уходить домой — зайца он гонял упорно и настойчиво.

В субботу, как всегда, приехал дядя Лёна. Он выслушал нашу печальную повесть, но не приуныл. Снисходительно улыбнулся и коротко пояснил:

— Чок-корда и настойчивость! Займусь сам!

Мы приободрились. Не говоря уже о нас, молодых, даже по сравнению с отцом дядя Лёна был охотником экстра-класса. С детских лет мы помнили его замечательные высокие сапоги, шитые на бычьем пузыре и перетянутые двумя ремешками — под коленом и на подъеме; знаменитый медный рог, змеившийся двумя поворотами на медвежьей шкуре в кабинете дядюшки; Дуная и Вислу — смычок русских гончих, с глазами хмурыми,

как утро позднего листопада. Да, дядя Лёна был величайший охотник, артист своего дела, и, если он брался исправить Лорда, успех был обеспечен.

Свежим воскресным утром мы все четверо отправились на болото — на открытом месте удобнее работать с чок-кордой — длинной прочной веревкой. Легкий ветерок согнал остатки тумана. Взошло солнце.

Впереди, уверенно преодолевая мочажины и залитые водой канавы, бодро вышагивали прославленные, перетянутые двумя ремешками сапоги, а их хозяин, маленький, полный, окруженный кольцами веревки, с грозной ременной плеткой за поясом, мурлыкал в длиннейшие черные усы какой-то военный марш.

— Подержите-ка собаку, — приказал дядя, разматывая с себя чок-корду. — Так... Тридцать метров довольно. Теперь петля. Смотрите какая — глухая, а не удавкой. Другой конец к поясу, на всякий случай. Всё. Пускайте. Да тише ты! Вот прет! Не собака, а локомотив.

Лорд мотался на чок-корде, как маятник огромных часов, дергаясь на поворотах и прибавляя ход на прямой. Стойка у ржавого мочажка нас не удивила — там постоянно держались бекасы.

Забыв про чок-корду, дядя Лёна двинулся к неподвижной собаке. Старый бекас не выдержал подхода, смачно чмокнул и потянул низом. Лорд прынул и кинулся за птицей. Дядя Лёна схватил убегающую веревку и, вскрикнув, выпустил из рук. Не успел взглянуть на обожженную ладонь, как страшный толчок свалил его с ног. Увязая выше локтей в болотной жиже, дядя попытался встать, но... еще рывок, и он опять сброшен, на этот раз уже на спину. Мы мчались на помощь.

Страхивая с усов липкую зелень, дядя бормотал что-то о проклятой скотине, о шкуре, которую нужно спустить немедленно, и еще что-то.

Здесь я на минуту опущу занавес — я против битья собак, но досада дядюшки была большая и законная, а Лорд не рассчитывал, что он накрепко привязан к поясу ведущего.

— Теперь он подумает, гнать или не гнать, — отдуваясь, заявил дядя Лёна. — Где тут еще есть бекасы?

— Правее, в кустах перед мшагой, — показал отец. — Только не привязывай ты этого черта к поясу, лучше привяжи что-нибудь к чок-корде.

— Прекрасная мысль! Ребята, срежьте-ка мне эту елочку. Да не ту, а рядом, погуще, и привяжите к чок-корде. За вершину, она у нас ершом пойдет, как якорь.

Елка не понравилась Лорду. Он останавливался, озирался, но потом привык и принялся таскать ее довольно бойко.

Стойка у можжевельного куста была, как всегда, крепкой. С легким шелестом выкатился большой русак и зачастил к болоту. Лорд взвизгнул и кинулся вслед. Дядя не успел наступить на веревку, елка чиркнула ему по крестцу и помчалась, подпрыгивая на кочках. Дальше все пошло как обычно: заяц, за ним смерч из мокрой собаки, водяных брызг и бешеной елки. Через минуту все скрылось из глаз, а через полчаса басовитый вой Лорда привел нас к раздвоенной сосенке, где наглухо застрял обмызганный остаток елки.

Невеселым было возвращение домой. Отец окончательно расстроился. Мы, по молодости лет, глупо хихикали. А дядя Лёна? Он был молчалив и сосредоточен, как полководец накануне боя — тяжелого, но не безнадёжного, о чем говорила улыбка, иногда пробегавшая по довольно мрачному его лицу. Перед самым домом он остановился и сказал:

— В конце концов, с Лордом можно охотиться. Стойку он держит, и если стрелять аккуратно, не мазать, то

гонять ему будет некого. С зайцем хуже. Придется отучать, и я его отучу! Будьте покойны...

Другого выхода у нас не было — мы охотились. Стрельба не всегда была «аккуратной», и Лорд...

Недели через две после неудачного опыта с елкой пришел таинственно улыбающийся дядя Лёна. Он оставил что-то в сенях и подсел к нам в кухне пить чай. Не сразу открылся, только после второго стакана, да еще обстоятельно покурив, сказал:

— Повезло, обещал — теперь сделаю. Надо же как подфартило! В теплицу забрался заяц, ветром прихлопнуло дверь, попался; он со мной. Зина! У тебя найдется сенник? Самый обыкновенный, только поплотнее, крепкий. Значит, так, мы эту парочку, зайца и Лорда, поместим в мешок и... плеткой, плеткой. Запомнит на всю жизнь! Позовите Лорда!

Тетя Зина принесла большой полотняный сенник. На свист, бойко цокая когтями по крашеному полу, примчался Лорд. Дядя Лёна командовал:

— Леша! Надень на него намордник и поддержи. Зина! Уйди, пожалуйста, в комнаты, тебе здесь делать нечего. Юра! Расстели сенник и приготовь завязку. Сейчас будет заяц. Крепче держите собаку!

Здоровенный, весь в рыжих завитках русачище сучил ногами и выбивался из рук, когда его перекладывали из мешка в сенник. Лорд с глухим намордником на удивленной морде оторопело притих.

— Скорее! Запихивайте собаку и завязывайте. Где плетка?

На середине кухонного пола недвижно лежал длинный синеполосный мешок. В нем раздельно топырились два горба. Все было тихо, спокойно, ни звука, ни движения. Дядя Лёна прошептал: «Давайте плетку». Сенник зашевелился, взвизгнул и взорвался — клубясь, скручи-

ваясь и раскручиваясь, метался по кухне. Лопнула завязка. Первым выскочил русак. Прижав уши, огромным прыжком взлетел на верхнюю посудную полку, выбив из нее несколько тарелок, и, в испуге, как рыжая молния бил во все концы помещения, взлетая и круша на полках посуду, банки с кислым молоком и вареньями. Внизу, стоя на задних лапах и страстно подвывая навзрыд, прыгал Лорд. Дядя Лёна закрыл голову руками, спасаясь от осколков. Мы с братом глупо, в растерянности застыли. Спокойный и, как всегда, находчивый отец одним тычком распахнул створки окна и с хохотом наблюдал, как в проеме исчез русак и за ним Лорд. На шум спешила тетя Зина.

ЛИСОГОН

Давно это было. Пороши перепадали частые, но неглубокие, ходить было легко, и охота шла удачно. Под самым городом, на Коровьем острове, за день можно было стропить не меньше пары тумачков*, живущих на заливных островах Среднего Поволжья.

— Ты знаешь, что у здешних помещиков Курлиных были замечательные гончие? — спросил брат.

— Знаю.

— А то, что у нас в доме живет старая нянька Курлиных, знаешь?

— Нет.

— Так вот, я кое о чем хочу ее спросить.

— Попытка не пытка.

Дальше все пошло, как в сказке, где случается то, чего хочется. Нянька вспомнила, как много у Курлиных было

* Тумач — помесь беляка с русаком.

собак, и что одну из них конюх Никитич привез в город, и что живет старик у Постникова оврага, и адрес есть.

На следующий день мы отправились к Никитичу. Входя во двор, заметили привязанного на цепь рослого багряного выжлеца. Был он ширококостен и бочковат, лапы в комке*, голова удивительно пропорциональная и сухая, ухо маленькое треугольничком, глаз звероватый, словом, «кругом хорош». Старый конюх рассказал, что вывез Плакуна щенком шесть лет тому назад, сам не охотник, собаку не учил и даже в поле с ней не бывал ни разу. Отдать собаку? Почему же, можно. Она ему вроде и ни к чему, и платы не надо.

Два фунта пшена и восемь пачек махорки закрепили наше право на собаку.

Красногрудые снегири бойко сновали по кружевным веточкам осокоря. Частенько опускались на снег, оставляя неглубокие следы — лунки и крестики. Пороша, дивная осыпная пороша пала с вечера и сейчас открытой и ясной прописью лежала вокруг. На легком морозце мягко, без привизга шуршали валенки и дышалось легко, как после бани.

Издаലെка мы заметили четкий малик — след зайца, подошли и спустили со сворки Плакуна. Большой, яркий на снегу, он в три прыжка подскочил к следу и уткнулся в него мордой. Фыркнул, поднял голову со смешной белой нашлепкой на носу и побежал в сторону.

— Забыл, — сказал брат.

— А может, и не знал? Надо поднять зайчишку.

Мы тропили не меньше часа, когда, обогнув камышовую низинку, брат заметил гонный след.

— Вот! Вот! Вот! Аля-ля-ля! Плакун! Плакун!

Пыля снегом, примчался Плакун, тихонько визгнул и принялся носиться вокруг, высоко подняв голову и не

* Лапы в комке — нахоженные лапы собаки со сжатыми пальцами.

обращая внимания на парной след зайца. Голоса не подал ни разу, как немой.

— Надо показать зайца — обазартить выжлеца, — посоветовал я уже без большой уверенности.

Мы обошли второго тумака большим кругом у лесного озерика, а потом, двигаясь так, что и своих шагов не слышали, обрезали кружок, оставив в нем запорошенный, частый, как корзинка, ивовый куст. Брат зашел с одной стороны, с другой стоял я, держа Плакуна за загривок.

Брат хлопнул в ладоши. Сивый, с прочернью по спине заяц вылетел из куста, затормозил всеми четырьмя, прыгнул и помчался, прижав уши, по нетронутой белизне озерка. Я бросился за ним, горячо называя и порская. Плакун остался на месте, а после выстрела брата не торопясь потрусил к барахтающемуся в снегу зверьку и остановился, не доходя нескольких шагов.

— Дай понюхать! — крикнул брат.

Я взял тушку зайца, но Плакун не подошел.

— Кинь ему пазанок*!

Плакун понюхал заячью лапку и носом зарыл ее в снег.

Мы повернули к дому. Плакун шнырял по лесу в довольно энергичном, но неглубоком полозе.

— Стой, — сказал брат и схватил меня за руку. — Как же я не догадался раньше! Плакун — лисогон. Помещики всякими там зайчишками не очень-то интересовались, им гон по-красному подавай.

А что ж. Все может быть, надо попробовать. Пойдем за реку к железной дороге, там недалеко от бойни в кустах не один лисий нарыск найдем.

Вечерело. Мы перешли Волужку и поднялись на поля. Солнце опускалось в лес, за Волгу. Из города на ран-

* Пазанок — отрезанные заячьи лапы, которыми гончатники поощряют собак.

ную ночевку потянули вороны. Они молча рассаживались на высоких осокорях, роняя ледяную пыль с веток.

Четкий нарыск крупного лисовина попался скоро. След был свежий. Зверь только тронулся с дневки. До самого леса мы бежали по следу, называя Плакуна. Выжлец равнодушно бежал рядом, а потом опередил нас и скрылся среди деревьев.

— Нет... — начал брат и сразу смолк. Впереди послышался гон.

Я крикнул:

— Стой! Послушаем, куда поведет.

А гон продолжался. Ярко и не скупясь на голос Плакун гнал где-то неподалеку к опушке. И как гнал!

— Господи! Какой голос! Какой удивительный голос, — почти простонал брат. — Помнишь у Дрианского? Стая гонит... «Не взбрех, не лай, не рев... непрерывная плакучая нота, выражавшая что-то близкое к мольбе о пощаде, в ней слышался какой-то предсмертный крик тварей, гаснувших, истаивающих в невыносимых муках...» Вот из таких голосов помещики и подбирали и...

— Подожди! Слушай, слушай, как он гонит, — перебил я его. — Только почему все на одном места? Давай туда...

Запыхавшись, мы прибежали на большую поляну. Плакун был там. Сиреневый предвечерний снег был исхлестан во всех направлениях широкими собачьими прыжками, но ни заячьего, ни лисьего следа не было нигде.

— Кого он гонит?

— Смотри хорошенько.

Черточка, две ямочки... Ниточка мышиноного следа протянулась от пня к вывороту. Плакун подбежал, сунулся к этому следу и, не поднимая головы, горячо погнался, сдваивая и трубя в нос. Так и гнал до самого выворота.

— Пойдем домой, — уныло промолвил брат. — Мышегона купили — мертвое дело. Сердцу тошно.

Брат мой всегда был вдохновлен какой-нибудь идеей. Идеи и увлечения были разные: крупномасштабные и мелкие, дельные и фантастические. Жить без них он не мог, за это над ним подсмеивались и за это любили.

Уезжая в очередную экспедицию, он решил привезти лайку:

— Не какую-нибудь городскую цуньку, а настоящую, сибирскую, зверовую. В наших местах медведи каждый вечер на овсы выходят, а не подкараулить. Помнишь, сколько ночей зря? Ты здесь, а он там, в ста метрах. Слышно, как возится в овсе, а не видно — ночь темная. А тут на зорьке пройдем край овсяного, медвежатник след примет и пошел... мы за ним. Остановит, мы с двух сторон на лай, он мишку за гачи цоп, мы ближе, он его еще раз за гачи, мы ближе. Стук! Лежит медведик. Печенку будем жарить...

Осенью я услышал знакомый условный звонок, открыл дверь и впустил густую рыжую бороду, ее хозяина, чемодан, заплечный мешок и крупную лайку волчьего окраса.

— Вот, — сказала борода бодрым голосом брата. — Как она тебе?

— Борода? Отвратительно.

— Серость! Я же тебя о собаке спрашиваю, о Дымке.

— Иди в комнаты. Лаечка вроде ничего. Бельчатница или по птице?

— Белка на Камчатке только-только появилась, не охотятся с собакой. Глухарь каменный, тетрас парвиро-стрис камчатикус, собаку держит плохо. Дымка работает по горным баранам, замечательно работает. Только по ним и идет. Хозяин денег не брал, пришлось тройник отдать и две банки черного пороха.

— Юрочка! Можешь мне поверить, за последние двадцать пять лет жизни я ни разу не встречал здесь горных баранов, ни разу.

— Ограниченный ты человек, понимаешь, она зверо-ва-я... По медведю только притравить, покажем — и все. Стук! Лежит, готов медведик!.. Жарим печенку. На собаку лучше взгляни. Дымка! Дымушка... Хороша?

В час подъема солнца мы подошли к Долгому Мху, за ним на возвышенности луга и нивы. Овсяное поле языками спускалось до самого мха. Тут-то из кромки и любили выходить на овсы медведи. Мы не раз находили их тропы и кучи помета.

Иней так густо посеребрил мох, что казалось — это не иней, а пороша, ослепительная — глазам больно, воздух пьянил свежестью, запахом багульника и раздавленной клюквы. «Ого-о-о-о-о!» — неустанно и яро гремел на болоте косач.

Дымка пошла легким галопом, резко перепрыгивая через ветровал. Я любовался собакой. Волк и волк — серая, пушистая, хвост, как у всех восточных лаек, не бубликом, а распущен, глаза раскосые, звериные, колодка не такая сбитая, как у западных лаек, поэтому ход плавнее, не подпрыгивающий.

С клюквы поднялся глухарь. Он пролетел мимо нас, сверкнув зеленой шеей и снежно-белым пятном подкрылья. Дымка молча вихрем мчалась позади. Глухарь сел в конце мшарины на корявую сосну, злобно распушился и скиркнул. Дымка подскочила и залаяла глухим низким голосом, похожим на вой. Подходить было бесполезно — мошник сидел на вершине одинокого дерева среди открытого болота. Только мы двинулись, глухарь с шумом порвался и потянул дальше. Собака бросилась за ним.

Мы пересекли мох и вошли в черноольховую кромку. Подпорная вода была здесь выше колена. Пробирались

к полю, хватаясь за стволы деревьев, перескакивая с кочки на кочку. Громкий плеск — к полю карьером промчалась Дымка.

— Что-то учуяла или услышала, — сказал брат. — Видел, как бросилась?

Я не успел ответить. Впереди на бугре раздался страшный крик, затем топот, возня... Бежим, не разбирая дороги, черпая за голенища.

— А-а-а-яй! — непрерывно звал голос.

Первым на сухое выбрался Юрий, я еле поспевал. Мы взбежали на бугор и остановились, пораженные. Солнце согнало иней с пашни, и на ней, на черной и влажной земле, пучились белыми боками три мертвые овцы, четвертую, повалив за шею, Дымка приканчивала. На меже, подняв руки, стоял знакомый парень — пастух и тянул свое бесконечное «а-а-яй!».

Дымка бросила мертвую овцу и пошла к нам, весело повиливая хвостом. Она сделала все, что могла, лучшей охоты у нее не было даже на Камчатке.

ЛЮБИМАЯ ЛЮБА

Просьба у меня — посмотри, пожалуйста, собаку. Все у нее: лады, кровь, питание... Работала много, а в чем дело — не пойму.

Я был удивлен просьбой друга. Никита — охотник, сын знаменитого собачника, сам великолепный знаток собак и натасчик, не первая легавая в работе, и вдруг: посмотри. Похвастать, что ли, хочет? Нет, исключено, не в его духе.

Как только начал спадать полуденный зной, я пошел к Никите, жившему в доме доярки на краю деревни. Жена Никиты собирала на стол — они еще не обедали.

На чистой кровати, под картиной с ярмарочными лебедями, положив голову на лапы, в полудреме нежилась ирландка Люба. Под носом у нее на куске клеенки лежал недоеденный кусок колбасы. Увидев меня, собачка приветливо постучала хвостиком по лебедям, но с кровати не сошла.

Заметив мой взгляд, Никита поморщился:

— Ничего не могу поделать. Балует она ее, с самых щенков носится, как с куклой, все на руках да на диванах. Сколько раз говорил, да разве... Фюить, пойдём, Любушка.

— Не торопись, поешь. Времени хватит.

— Добро, садись с нами.

Мы вышли из деревни на исходе летнего дня, в час, когда вот-вот снова закричит коростель, а чайки летят с озера на пашню.

Никита с собакой у ноги шел впереди легкой походкой лесовика. Длинные ноги, обутые в поршни, аккуратно перетянутые по оберткам тесьмой, казалось, не ступали, а спорко скользили по намятой обочине проселка. Когда Никита оборачивался и привычным жестом поднимал прядь не по годам темных и густых волос, я замечал досаду и озабоченность в обычно веселых и всегда чуть иронических глазах.

Разговаривая, мы не сразу заметили, что Люба отстала. Собачка стояла на мостике, переброшенном над открытым бочагом между двумя мочажинами. Стояла в напряженной и, пожалуй, красивой стойке. Пришлось вернуться.

— Посылать или нет? Там такая вязель, нам не пройти.

— Посылай, посмотрим. Может быть, и хорошо, что одна. Если не боишься.

— Что ты! Нисколько.

Никита бережно и ласково отер с морды недвижимой собаки серую корку успевших налететь комаров и командовал:

— Вперед, Любушка! Вперед!

Ирландка охотно стронулась, перескочила канаву и плавно повела, с трудом вытягивая лапы из булькающей жижи. Шагах в тридцати от дороги, прямо по носу собаки взлетел бекас. Люба обернулась, помахала пером и пошла к нам.

— Что тебе надо от первопольной? — не выдержал я. — Чутьиста, стойка крепкая, подводит легко, а уж вежлива...

— Мне надо, — ответил Никита, прыжком избавляясь от грязевого душа отряхивающейся собаки, — чтобы ты не торопился с выводами.

После гудящего комарами ольшаника, где вяло пели и рюмили зяблики, а в колеях на влажной глине сидели сотни голубых бабочек, дорога круто поднялась на бугор. С высоты открылся чудесный вид на лесные покосы. Свечи берез окаймляли десятки некошенных полянок, а дальше в синей дымке жаркого дня раскинулась просторная мшарина. Сколько раз поднимался я на эту высотку и всегда не мог без душевного трепета смотреть на эти зовущие места.

На первой, очень большой поляне Никита пустил собаку.

Люба весело пошла в поиск. Нет, это слово здесь не подходит. Она ничего не искала, она бегала вокруг хозяина, поминутно останавливаясь и оглядываясь. Казалось, она гуляет или играет в какую-то детскую игру, где в главной роли Никита, а не она. В дальнем углу покоса Люба причуяла, вздрогнула и пошла не торопясь в кусты.

Мы застали ее на небольшой чистинке в молодом лесу. Люба лежала, утонув в пестром цветочном ковре, и поку-

сывала лепестки ромашки. Так и захотелось сказать: «Любит, не любит, плюнет...»

— Птица здесь, — твердо заявил Никита.

— Где здесь?

— Это уже другое дело. Установить можно. Люба не пойдет в сторону птицы. Сейчас найдем.

С этими словами Никита пересек частичку и позвал собаку. Люба охотно поднялась. Никита скомандовал: «Даун!» — и пошел в другую сторону. Все повторилось в том же порядке. Наконец он позвал Любу, подойдя к одинокому корявому дубку. Собака не встала, а прижалась к земле, даже голову в траву спрятала.

— Ко мне, Люба! — громко закричал Никита.

Собачонка не пошевелилась. Под дубком зашуршала трава, и, резко хлопая на подъеме, взлетел выводок тетеревов — матка, молодой, второй, третий... седьмой. Люба скусила последний лепесток ромашки и пошла к Никите.

— Дурочка, — сказал он, — все равно не спрячешь. — И добавил для меня: — Теперь будет хуже, совсем оробеет.

Пошел слепой дождь, такой теплый и солнечный, что не захотелось от него прятаться, но птичьи наброды он смыл, и мы долго бродили попусту, хотя знали, что поблизости есть еще выводки.

— Пойдем к большому сараю, — решил Никита, — там выводок позднышков, цыплята с дрозда, далеко не уйдут, да и место узкое, найдем сразу.

Мы еще не дошли до сарая, как Люба почуяла, легла, но тут же вскочила и принялась рыть землю. Тонкие лапки мелькали часто-часто, трава и песок летели во все стороны.

Я сам догадался:

— Здесь выводок!

— Рядом, — отозвался Никита.

Мы молча наблюдали, как быстро росла и углублялась яма.

Никита невесело ухмыльнулся:

— Могилу роет. Выроет — убую.

— Не убьешь. Сами виноваты — в одной кровати спали, из одной тарелки ели, вырастили комнатную собачку — птичьего взлета боится.

ОДНОСТРЕЛЬНАЯ АНГЛИЧАНКА

Отпуск я проводил с семьей на хуторе у озера Тихого. Назывался этот хуторок Крутик, нашел я его по карте — три темных квадрата у голубого пятна озера среди бездорожной зелени Новгородчины.

Со мной была Кора — английский сеттер приятеля. Он отдавал ее по первому полю в натаску егерю, но егеря поставить собаку не сумел.

По утрам, уложив в нос челнока Кору, я отправлялся на ближайшие острова. Стоя в корме, одним веслом ходко гнал долбленку по гладкой воде. Подо мной скользил такой же, только опрокинутый челнок, и весло рвало и качало белые кучевые облака. Кора, подняв над бортом голову, ловила запахи берега.

Мягкий толчок, скрип днища по песку, и вот мы на первом острове. Здесь, неподалеку, по веснам на сиреновом льду озера бегали, ярились и прыгали синеперые косачи. Когда озеро открывалось, черныши перебирались на прибрежные сосны и на зорях лили воркующие песни. Эхо вторило, и казалось, все озеро гремит долгим тетеревиным стоном. На островах, в потайных болотцах гнездились тетеры и до осени водили молодых. Очень удобные места для натаски собаки.

Кора по разрешению выскакивала из лодки на берег и ложилась, выжидая. Я был доволен собакой. Вежливая

от природы, она быстро усвоила простые команды и выполняла их охотно. Острое чутье, стильный для англичанки стелящийся ход. Что еще нужно? Нужна была стойка, а с ней не ладилось. Почует, потянет вперед и вперед — и так до самой птицы. Нет, она не гнала, по взлету останавливалась, иногда ложилась и виновато на меня смотрела, словно хотела сказать: «Не знаю, хозяин, как это опять получилось, нехорошо, но ничего не могу с собой поделать — тянет».

Десятая, пятидесятая, сотая встреча с птицей, и все то же. Вот и сегодня мы гоняли уже довольно крупных тетеревят с одного конца острова на другой, пока они не забились в крепь. Собачка моя вывалила язык, а стойки так и не было.

Я прилег на песок среди прибрежного вереска и смотрел на Кору, любуясь ее породным видом и досадуя на странное асимметричное черное пятно вокруг одного глаза, так портившее безукоризненную в остальном рубашку трехколерного сеттера. В этом пятне было что-то клоунское — казалось, что Кора все время подмигивает.

Пахло хвоей, присохшей тиной и земляникой, должно быть, я лег на самые ягоды. Вдруг Кора поставила ушки лопушками — совсем близко призывно пропищал тетеревенок. Перекликаются, матка собирает.

В затишье, где прибрежный тростник встречается с вереском, Кора на скаку почуяла. Почуяла поздно — еще прыжок, и она попала бы прямо на птицу. Этого она сделать не могла и застыла в странной позе — все четыре лапы вместе, голова вниз, туда, где, сливаясь с лесной ветошью, спокойно и уютно сидел молодой.

Сто тридцать первая встреча — и первая стойка... Я огладил собаку и продержал в неудобной позе две минуты по часам. Мы вместе разглядывали пестрые перышки, черный веселый глаз и над ним узкую кумачовую полоску.

Тоненьким прутиком я пошевелил цыпленка. Он вскочил, пробежал, виляя хвостиком, несколько шажков и взлетел, шумно, как большой. Кора легла.

Я знал, хорошо знал, что дело сделано, но работы предстоит еще много.

В начале августа как-то после обеда я предложил отцу:

— Пойдем сегодня, посмотришь собаку.

Отец выпустил изо рта тонкую струйку табачного дыма, внимательно посмотрел на меня через очки и согласился.

Признаться, я волновался — отец был строгим судьей, притом убежденным, что «раньше были собаки — теперь...».

Волновался напрасно. Кора показала высокий класс работы. На Побежаловских пожнях, почуяв с карьера выводок рано взматеревших тетеревов, она подала их одного за другим. Все восемь молодых и старку. Становилась, плыла, вздрагивая и пригибаясь, подводила и вновь становилась крепко и уверенно.

В тальниках у озера Кора нашла линялого косача. Дерзко, с нажимом вела его вдоль берега от куста к кусту. Мы даже разок заметили, как черныш, похожий на черную утку, вытянув шею, прошмыгнул через чистинку. Не хотел подниматься на крыло. Тогда Кора забежала вперед, прыгнула в куст и, стоя на месте, спокойно наблюдала, как синий шар, мелькая белым подбоем крыльев, мчался на нас.

На открытие охоты я пошел в Колмышино — лесную деревнюшку километрах в восьми от нашего хутора. Прямо сквозь Черные кварталы, через болота и пищути*, попал на колмышинские поля. Мы шли по дорож-

* Пищути — заросли (новгор.).

ке, и Кора прямо от ноги стала на большой ольховый куст. Я зарядил ружье, зашел со стороны и послал собаку. С шумом порвался из куста расположившийся на ночевку выводок. Первого чернышка я сбил на подъеме, второй потянул вдоль дороги, после выстрела закувыркался на песке, и... что такое? Кора бросилась за ним со всех ног.

— Лечь! Кора! Лечь!

Ни малейшего внимания, она мчится к подранку, перескакивает его и скрывается в лесу, там, откуда пришли.

Что за фокусы? Неужели Кора боится выстрела? А я не проверил, понадеялся, что у егеря была.

— Кора! Кора! Поди сюда, Кора!

Я охрип, свисток мой захлебнулся, но собаки не было.

Поздно вечером вернулся домой. Кора напугала всю семью — прибежала, вскочила в комнату и забилась под кровать. Все решили, что со мной что-то случилось в лесу.

Утром мы с отцом пошли на проверку. Кора быстро нашла выводок, сработала его и после выстрела в панике удрала домой.

Что мы потом ни делали — стреляли одним пистолетом, стреляли, постепенно приближаясь, и над кормом, ходили с другой собакой, — все было напрасно.

— Так она и останется на всю жизнь однострельной собачкой, — заключил отец. — Гильзы такие бывают — выстрелишь и выбросишь.

ДЕНЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Памяти Василия Николаевича Павлова

Собаки нашли запавшего беляка. Я был уверен, что гончие ведут прямо на меня, — держал ружье на изготовку и, медленно поворачивая голову, старался как

можно глубже взглянуть в тесноту еловых стволов, ожидая зайца.

Выстрел грянул впереди и слева. Гон смолк. На опушку вышел Василий Николаевич. В одной руке он высоко держал белячка, другой отмахивался от прыгающих на него собак. На лице охотника, не по возрасту молодом и розовом, сияло счастье. Мы сошлись на сухой полянке. Пора бы отдохнуть.

— С полем, Василий Николаевич! Я отпазанчу зайца и схожу за водой, а вы, пожалуйста, займитесь костром.

Мой спутник, видимо, удивился тому, что у меня есть с собой все для чаепития, и вообще манере среди осеннего короткого дня заниматься этим делом, но ничего не сказал, вынул большой нож и начал быстро и сноровисто вырезать рогатинку.

Я отрезал у зайца пазанок, разорвал его по пальцам надвое и кинул собакам. Малик проглотил свою долю, как глоток воды. Смётка схватила, оттащила в сторону и бросила в траву.

— Не ест, — сказал Василий Николаевич, — и правильно делает. Что там есть? Кости, жилы да шерсть. Сухота, водой не запьешь. И за такую работу!

Чай поспел быстро. Мы закусили, прилегли с папиросками у костра.

Отшумел, отгулял буйный ветер-листодер, опять потянулись тихие деньки, только лес уже не тот: как-то распахнулся он, стал просторнее и грустнее. Сквозит широкая гладь болота через прозрачную березовую кромку. Серым частоколом стоит оголенный осинник. Только на одной вершине светится несколько листиков. Один, два, три... двенадцать. Словно стайка лимонно-желтых бабочек присела на голые сучья и трепещет легкими крыльями.

Скоро, очень скоро уже по-зимнему посинеет небо и закричат медными голосами невидимые за облаками

лебеди. Запрыгает на пожухлой листве ледяная крупка. В обнаженных вершинах медленно затанцуют первые лохматые снежинки.

— Собаки всё понимают, только мы этого не замечаем или не хотим замечать, — неожиданно начал Василий Николаевич.

Я вздрогнул, открыл глаза и только тогда понял, что задремал.

— У меня много лет жил выжлец. Сорочаем звали. Он шел от Выплача и Утешки. Замечательный, опытный, верный, и голос хороший: двухтонный и очень доносчивый — за два километра в тихую погоду слышно. Бродили мы с Сорочаем — я тогда посвободнее был, — считай, всю осень, от начала охоты до глубокого снега. Поднимет Сорочай косога — никогда не бросит, как тот ни вертись. Гнал и по мокрому, и по сухому. Как поднимет, знаю: заяц мой никуда не денется. Стукну белячишку, отпазанчу, даю Сорочаю лапку. И все мне казалось, что он неохотно берет и как-то странно на меня поглядывает. Вот как давеча ваша Смётка! Поймает Сорочай пазанок, помусолит, похрустит, вздохнет и на меня так косо взглянет, вроде как сказать хочет: «Я, мол, понимаю: так полагается, — но несправедливо. Забота моя, работа моя, а дальше что? Тебе, хозяин, вся тушка в мешок, а мне хрящ да меха клок».

Василий Николаевич встал и поправил костер. Солнце грело, но нам было как-то зябко. Малик потянулся, подошел поближе к огню, повертелся в траве и с легким, довольным урчанием лег снова. От его мокрой шерсти шел пар.

— Так вот, — продолжал Василий Николаевич, — охотились мы много лет. Однажды беляк вышел на меня на большом ходу — в частом ельнике. Я поторопился, ударил раз за разом, нашел на земле клочок шерсти, и боль-

ше ничего. Сорочай с голосом повел дальше, без остановки, угнал далеко, еле слышно, и замолк. Я подаюсь туда. Шумлю, кричу... нет собаки! Нечего греха таить — отду-плетил два раза по еловым шишкам, — нет выжлеца, про-пал. Ни слуху ни духу. Около часа прошло, идет Сорочай через болото прямо ко мне и что-то в зубах несет. Подбе-жал, бросил у моих ног заячий пазанок и — хотите верь-те, хотите нет — улыбнулся во все зубы. Пошли мы до-мой, — какая охота, когда у выжлеца от съеденного зайца брюхо до полу. Назвал я этот день «Днем справедливо-сти», а пазанок — мою долю в этой охоте — домой отнес и храню как память!

СОЛОВЕЙ БЕЗГОЛОСЫЙ

Припоминая наших собак, я замечаю, что больше всего среди них было гончих. Они пропадали так же ча-сто, как появлялись. То за лисицей увяжутся, и поминай как звали, то пристанут к соседней охоте, то после гона застрянут в чужой деревне.

Вспоминая, всегда удивляюсь разнообразию собачь-их характеров и привычек. Была у нас польская выж-ловка Лахти. Первый хозяин — аккуратный и молча-ливый механик, эстонец — наганивал ее, выезжая за го-род на велосипеде. В работе Лахти была нетороплива и обстоятельна, но, попав на свежий отпечаток велоси-педных шин, гнала по нему вязко и с голосом. Был вы-месок Букет — умнейший старый пес и мастер. Продер-жав зайца часа полтора-два или почуяв на следу хоть капельку крови, он немел, как в рот воды набирал, и принимался ловить косога, срезая петли или залегая на тропе в плотном месте. При удаче — а она случалась частенько — он так наедался зайчиной, что не мог ид-

ти. Мы волокли его по снегу на поводке, как опрокинутую скамейку. Был русский выжлец Валет, обладатель удивительно красивого, фигурного голоса. Валет, как только сходил с дороги, все равно где — в лесу, в кустах или на вырубке, — немедленно отдавал голос. Высоко подняв голову и раззявив пасть, он, как шары, выкатывал гремящие стонущие ноты. И так целый день. А зайца и близко не было.

Мелькают в памяти имена, голоса, повадки, но почему-то с особым теплом и даже волнением я вспоминаю одного приبلудного арлекина*.

У нас в компании было три собаки. Отец их называл прогончими. Ирония приставки заключалась в том, что наши гончие, подняв зайца, очень скоро возвращались назад. Это было не совсем так. Били мы зайчишек немало, но, честно говоря, больше прибылых белячков на первом, много на втором кругу. Старые, опытные беляки обычно отделялись от наших гонцов довольно скоро, уходя напрямую или в крепкие места. Русаки и вовсе оставались мечтой. Словом, неважные были у нас в ту пору собачки.

В очередную субботу мы вышли со станции на последнем свету. Впереди четырнадцать километров лесной дороги, ночевка в знакомом доме и наутро охота. На вырубке из частого осинника выбежала гончая собака и приветливо замахала хвостом. Все попытки прогнать ее ни к чему не привели. Даже сломанный на обочине прут не изменил ее решения присоединиться к нашей компании. Пес упорно плелся позади, соблюдая безопасную дистанцию. В дом мы его не пустили, надеясь, что ночью он уйдет.

Утром, когда мы кормили на крыльце собак, из-под стога, потягиваясь и приветствуя всех по очереди, вылез крупный, ладный выжлец. Пестрая мраморная рубаш-

* Арлекин — окрас гончей (пестрая собака с разными глазами).

ка, один глаз карий, другой мутно-голубой, как с бельмом, — арлекин. В те годы их было не так мало, как сейчас. Меня поразила колодка выжлеца и ноги, они были великолепны. Правда, большая напружина в спине и не бочковатая, а очень спущенная грудь придавали собаке некоторую борзоватость.

— Дайте ему поесть, — сказал Щервинский. — Мы делали все, что полагается: гнали, ругали, били, но голодом морить — свинство. Поди сюда, песик. Как тебя? Арлекин? Арля! Арля!

Хитрость была довольно прозрачная — Щервинскому явно хотелось попробовать новую собаку: а вдруг хороша и поможет нашим? На охоту мы пошли с четырьмя гончими.

В позднюю осень выдаются такие тихие, задумчивые деньки. За низким туманом не видно солнца. Прохладный и влажный воздух так недвижим, что даже на самой верхушке осины не трепещут листики.

Охота наша шла по нешироким полям вдоль глубокой и быстрой речки. Мы двигались цепью, тяжело вытаскивая ноги из размякшей пашни. Гончие рыскали в опушке.

Не допустив на выстрел, из клочка некоей у камня выскочил русак. Подкидывая куцый зад, он мчался так, будто под лапами у него была не вязкая пашня, а твердая дорога. Собаки помкнули по-зрячему. Гон пошел кустами вниз по реке.

— Ну и русачище, — сказал брат. — Как осел, и ушами поводит. Такого не вернуть.

И верно, скоро собаки сошли со слуха, а через полчаса из кустов начали вываливать наши гонцы: Султан... Найда... Доннер — все тут, больше ждать некого.

— А где Арлекин?

— Как попал, так и пропал, — рассмеялся Щервинский. — Нас не боялся, а гона не перенес, исчез.

Сквозь низкие тучи пробилось солнце. Стая рябников, чокая и повизгивая, пролетела за реку. Мы с братом сидели на камне, от которого выскочил заяц. Какая-то вялость обуяла в этот теплый, тихий осенний денек. Видя, что мы сидим, рядом расположились гончие. Султан недовольно выкусывал присохшую между пальцев грязь. Щервинский заметил на опушке косача и пошел его скрадывать — бесполезное занятие, от которого мы не могли отучить неопытного охотника. Зонов, в душе рыболов, а не охотник, пошел посмотреть на реку.

Султан резко поднял голову и прислушался.

— Что это, — удивился брат, — слышал?

— Слышал, но понять не могу — звон не звон, гон не гон. Будто собака пролаяла. Очень далеко.

Прошло немного времени, и в кустах у самого поля раздался гон. Впрочем, не гон, а какой-то обрывок — прозвучал и смолк.

— Гонит! Арля! — тихонько сказал брат, хватаясь за ружье.

— Сиди, Юра, не шевелись! Прямо на нас.

На пашню шаром выкатился русак. Прижав уши, он резко и легко мчался, взбрасывая длинные ноги. За ним, в каких-нибудь ста метрах, молча гнался Арля.

Стрелять было далековато, и почти тотчас зайца заслонили кинувшиеся к нему гончие. Свистнула дробь, в опушке хлопнул выстрел Щервинского. Брат погрозил ему кулаком — выстрел был совершенно дикий и мог скорее зацепить нас, чем зайца.

Гон пошел по деревне, вверх по реке и опять ушел со слуха.

На этот раз наши гончие не возвращались очень долго. Разойдясь, мы двинулись за ними и встретили Султана, Доннера и Найду. Они гуськом бежали вдоль реки. Арли с ними не было.

— Вернет, — сказал брат, — я в него поверил, ей-богу вернет. Он...

— Тише! Слушайте! — перебил его Зонов. — Мне показалось, что далеко за деревней кто-то пролаял: «Ау-ау-ау!» И все.

Мы вышли на дорогу и не торопясь побрели к деревне. Собаки пошли у ног.

— Золотые гонцы, — язвил Щервинский. — Побегали часок за русаком и, пожалуйста, шпоры чистят.

У околицы, смешно разбегаясь и сходясь, бодались два козленка. На скрипучих воротцах катались ребята. Деревня вытянулась вдоль разъезженной до киселя широкой улицы. По обочинам тянулась намятая тропинка с набросанными кое-где кирпичами. У бревенчатых домов с высокими подвалами валялись капустные листья. На березах у домиков пели скворцы. Это старики прилетели прощаться — молодые давно сбились в стаи и отлетели на юг. Пахло дымком и капустными бочками.

В дальнем конце вдруг дружно залаяли дворовые собаки и пронзительный голос заверещал:

— Заяц! Заяц!

Русак бежал нам навстречу по обочине, у колодца вздыбился, покрутил ушами и скинулся в проулок. На дороге появился Арля, добежал до скидки, выдал уже знакомую нам очередь: «Ау-ау-ау!» — и, увязая в жидкой грязи, помчался в тот же проулок.

— Володька! Давай к реке, наперерез. Зонов, к воротцам! Где заяц?

— Дяденька! Они в огород к Хромому побежали.

— Не ври, я их уже за тети-маниной баней видел...

— Во-он они! Во-он они!

Далеко у речки, на потной, вытопанной скотом луговине виднелись фигурки зайца и собаки. Мы побежали во весь дух наперерез.

Русак бежал быстро, но далеко не так легко, как утром, он явно устал. И что это? Навстречу из кустов показались наши гончие, вся тройка. Миг — и собаки звездой накрыли замотанного зайца.

Порвут! На куски растащат...

Когда я подбежал, то убедился, что русак останется целым. На нем передними лапами прочно стоял Арля и выразительно скалил молодые зубы. На меня он даже не уркнул.

Я поднял зайца за задние ноги, он не гнулся — застыл, как палка.

— Смотри, — показал я подбежавшему Зонову, — окаменел сразу, отойдет не раньше чем через пять — десять минут. Еще немного, и он был бы согнан по всем правилам настоящего гончего искусства.

Щервинский и Зонов в тот же вечер с нашими собаками ушли на поезд. Мы с Юрием оставили себе Арлю и решили в понедельник идти на станцию охотой.

— Пойдем через Халики, — предложил брат. — Если он и там будет держать, не бросит в ляге — значит, собака!

За ночь резко похолодало. Пропали скворцы. Навстречу, увязая колесами по ступицу, шли возы с капустой. Лошади натужно выдыхали белые клубы пара.

До самого леса раскинулось убранное овсяное поле. Влажная стерня мягко подавалась под ногами. Пахло овсом и мышами. Очень низко пролетели лебеди.

Лохматая и неторопливая снежинка, первая в этом году, села мне на плечо и тотчас растаяла. Я удивился:

— Смотри — снежинка. Верно говорят, что лебеди на крыльях приносят снег. И гляди, как странно: здесь солнце, а в елках туман запутался.

Халиками называется у нас большой отъем глухого высокоствольного ельника. Он далеко протянулся среди болот узкими длинными рёлками. Между рёлками

такие же вытянутые, похожие на заглохшие реки, мокрые низины-ляги. Там тростник, черная ольха и под зеленым мхом потайные ручьи. По рёлкам сухие удобные тропинки — бывшие промысловые путики.

Арля очень скоро поднял зайца. Выдал «очередь» и пропал. Мы встали на просеке неподалеку от лежки. Два раза мы слышали собаку — один раз далеко, другой поближе. И опять наступила тишина.

Брат явно не успел приготовиться. Я заметил, что совсем рядом с ним проскочил заяц, и услышал два торопливых выстрела. Почти сразу за беляком перемахнул через просеку и Арля.

— Промазал?

— Он мчался, как намыленный, я и обзадил.

Три раза, только три раза я слышал уже знакомые теперь обрывки гона. Брат каждый раз поднимал руку, показывая, где идет гон. Наконец голос Арли совсем рядом. Торопливый шорох по листве. Я вскинул ружье, долго ловил в прогалинках елового подседа мчавшегося со всех ног белячишку и промазал, раз за разом.

Заяц неожиданно быстро вернулся своим следом. Кажется, еще стремительней, чем раньше, он мелькал в частоколе осинничка. Длинной потяжкой я выбросил стволы далеко вперед. Беляк покатился шаром. Прежде чем я перезарядил, Арля накрыл зайца.

Очень скоро на островке, в самой топкой ляге, Арля побудил большого цвёлого беляка. Мы видели, как он выскочил на просеку. Подстоять такого было не просто, но мы уже привыкли к молчаливому гону собаки, верили ей, стояли на лазах напряженно, как на стенде, а паратый* выжлец так жал на зайца, что через полтора часа брат срезал его красивейшим выстрелом, почти влет, над просекой.

* Паратый — быстрый.

— Заячья смерть! Не гончая, а заячья смерть! — кричал Юрий, потрясая мокрым беляком. — От него ни один не уйдет. Найдем хозяина — все отдадим, но купим Арлю!

К концу дня мы взяли еще двух беляков и окончательно влюбились в приبلудного арлекина.

Перед станцией решили взять гончака на поводок, но в этот момент Арля пропал. Исчез, как лесной дух, так же внезапно и неожиданно, как появился.

Мы искали его на станции и в поселке, повесили объявление на почте, два воскресенья обходили окружающие деревни. Никто не знал и не видел такой собаки. Так и остался у нас в памяти похожий на мечту, безумно паратый и верный гонец, соловей безголосый — Арля.

СЕКРЕТ ЯРИКА

Мы сидим на деревянном крыльце. Ярик смотрит на меня, я — на него. Он красив, этот мощный и в то же время элегантный пес. Умные, цвета темного ореха глаза, хорошо сбитая колодка, длинная, до синевы темная и все же яркая шерсть цвета... не знаю — никто еще не придумал точного сравнения для окраски ирландцев. Когда Ярик выбегает из тени дома на зеленую деревенскую улицу, солнце играет на его боках, как в полуденной озерной зыби. Я улыбаюсь красоте собаки, и он в ответ улыбается, не во всю пасть, а так, чуть приподняв губы.

Ярик разглядывает меня приветливо и настороженно — бог его знает, что за человек новый хозяин. Я же стараюсь угадать, что за собака получилась из коричневого плюшевого комка, отданного мной из рук в руки приятелю.

Не хотелось давать щенка Лосскому, вот как не хотелось! Первый помет моей ирландки, полевого и выста-

вочного чемпиона, мы решили распределить среди надежных натасчиков, чтобы достоинством детей подтвердить славу матери и поскорее провести ее в класс элиты.

Лосский был моим товарищем по институту, вообще по молодым годам, но так сложилось, что охотились мы вместе редко. Судя по этим встречам и по рассказам спутников Лосского, он был страстным, но не очень дельным охотником и, уж это я сам твердо знал, никогда порядочных собак не имевшим. Известно было, что и натасканных для него егерями легавых он быстро приводил в состояние, для охоты непригодное. Что было делать? Охотник, старый товарищ, загодя предупредил, что хочет завести ирландца, и обязательно от моей собаки... Пришлось подарить.

По тому, как Лосский ласково взял щенка в руки, стараясь, чтобы не заметила сука, как бережно укутал его за пазухой, видно было, что новому собакожителю будет неплохо на белом свете. Я спросил:

— Как назовешь?

Лосский улыбнулся смущенно:

— Ярило, — он будет красным, как солнце. Сокращенно — Ярик. И по Пришвину тоже...

Прошло пять лет. Неделю назад, еще в городе, Лосский неожиданно пришел ко мне и сказал, что по ряду обстоятельств не может больше держать собаку и просит принять подарок обратно. И вот мы сидим с Яриком на крыльце деревенской избы и гадаем каждый о своем. По слухам, кобеля кое-как поставили по болотной дичи. Рассказывали, что ход у него отличный, чутье богатое, но... диплом третьей степени обязан в большей мере снисходительности судей, не желавших оставить без классности красавца, уверенно занимавшего в ринге первые места. Лосский сказал, что кобель замечательно, великолепно работает по бекасам и дупелю, по тетереву не

идет. Не пошел с самого начала. Горячится на набродах, стойки нет, толкает и гонит. Я расспрашивал о всех мелочах натаски и жизни Ярика. Лосский отвечал охотно:

— Нет, с домашними в лес не ходил. Бродить одному не позволял. В чужие руки не давал, разве что опытным охотникам...

Странно... очень странно. Ну что ж, пойдем, Ярило, Ярушка.

Видели бы вы, как прыгал, вертелся, даже подвизгивал рыжий, заметив, что я повесил на шею свисток, обул кеды и взял ружье. Восторг, дикий собачий восторг. И так до самой околицы, — еле-еле заставил идти у ноги.

Тихо и прохладно в лесу, заливная роса знобит ноги. Третий день воздух голубой — где-то далеко большой лесной пожар. Пахнет дымком и медом. Медом от куста таволги в старой канаве. В березняке некошенная чистинка. Желто-синие цветы иван-да-марьи, оранжевые шарики ландышей, прозрачные метелки мятлика. В высокой зелени ясно видны коридорчики — путаные ходы, знаки тетеревиного выводка. Ярик, приуставший от бесплодного поиска, попал на наброды, оживился, завертел пером, как гончая на жирах, опустив нос, крутился, подпрыгивал и, когда сочно закокав в опушке, поднялась матка, ринулся за ней неоглядно, бешеным карьером распугав молодых. На свисток вернулся скоро и без всякого смущения рухнул у моих ног в траву, выставив из нее морду с вываленным языком.

Хорошо! Очень хорошо! Ход, страсть и чутье есть, а дальше знаю, что делать, — не первая такая недоработанная собака в руках, не новость. Надо задерживать на свежих набродах и обязательно «поднять голову». Тогда и стойка получится. Ведь есть же она у Ярика по болотной дичи. Все просто... Просто? Да, если бы июль на дворе, а сейчас тетерочки с матку, чернышки пером меша-

ются, косички закручивают. Осторожные, близко не подпускают. Как тут собаку учить?

Немало побродили мы с Яриком по лесным покосам, по закраинам болот и вырубкам, и все без толку. Сторожкая птица и неукротимый ученик. Как он вертелся и рвался даже на веревочной корде — верной помощнице натасчиков, запутывал себе лапы, валился на спину, выбиваясь и дергаясь, следил испуганными глазами за улетающими птицами. В чем дело? В чем секрет? Не первая собака в натаске, а такого не было. Что делать?

Подумал, решил ехать на Кривой остров. Он далеко от берегов, на Большом плесе, в виде буквы «П», по краям лес и луг, посередине — протоčina, пересохла в одном конце. Живет на Кривом старая холостая тетера. Поднимешь ее на одной ножке буквы «П», летит через проточину на другую, с острова не улетает. Работать можно бесконечно, только ног не жалеть, и, главное, я знал, что после двух-трех подъемов тетера словно привыкала к собаке и, укрываясь в гуще травы, подпускала собаку близко, чуть не в упор, а это мне и надо было.

Утро загорелось ясное, по-осеннему кроткое. На острове тишина, безлюдье. Тенистая прохлада под деревьями, ранний припек — на открытом. Пахнет пожухлой листвой и мятой. Три соколка, заметив нас, с писком закружились над вершинами сосен и улетели с острова. В траве между ивовыми кустами Ярик запрыгал, завертелся. «Лечь!» Лежит, хахает открытой пастью. «Вперед!» Встал и опять крутится. «Лечь!» Тетера вылетела далеко за кустами и, поблескивая белым подбоем гнутых крыльев, совершила обычный перелет через проточину. Начнем сначала. «Ярик, рядом!»

Чтобы взять ветер и не спугнуть птицу, пробираюсь у самой воды. Ярик у ноги. Некошенная высокая трава, местному называемая «береговина», смыкается с узень-

кой полоской камышей. Слышу там всплеск, такой знакомый и волнующий, — взлетают три кряквы. Длинные шеи, плоские головы, синие зеркальца на крыльях. Рву с плеча ружье, стреляю уже далековато. Одна утка камнем падает на середине плеса, именно камнем, ни на секунду не задерживаясь на поверхности, нырнула. И... что это?

Рыжая голова плывет, торопится, рассекая уголком воду, туда, где круги от падения птицы. Доплыл, кружится на месте, высоко подняв голову. Явно ждет, что утка вынырнет. Похоже, не первый это у него случай. Странно... Кряква пропала, давно пора вынырнуть, озеро гладкое, а ее нет и нет. Я-то знаю, что она уже давно проскользнула под защиту берега и воровато выбралась на сухое. Удивительно, что и Ярик знает. Вернулся ко мне и, не задерживаясь, внимательно обследует берег: в одну сторону от воды до кустов, вернулся, деловитым галопом проскакал мимо в другую сторону и все дальше и дальше обыскивает берег. Боже мой! Бросок за падающей уткой, а затем поиски на сухом. Так работал знаменитый Джойс Померанцева — ни один подранок не уходил, ни один!

Иду за Яриком, огибаем залив. В зеленом видна только спина. Она движется все медленнее и медленнее, совсем затихает на мгновение и вдруг — дикий прыжок, уши всплеснулись над головой. Хлопая по воде крыльями, из камышей вырывается кряква. Добиваю выстрелом. Ярик подплывает, берет «мягким прикусом» и подает добычу мне в руки. Он чрезвычайно доволен, чрезвычайно.

Великолепный утятник! Вот в чем был секрет Ярика. И как я не подумал, что у Лосского дача на Ладоге, и, значит, «опытные» охотники, что ходили с кобелем, стреляли уток, а я не догадался про это спросить. Утятник... Хорошо или плохо? Судите сами. Знаю, что многие охотят-

ся с легавыми только на уток и этим довольны. Спорить не буду, но для меня легавая, не работающая по боровой птице, потерявшая свой главный талант и красоту — крепкую стойку, — опустившаяся собака.

ПЫЖИК

— На шкурку смотришь? Шкурка сортная, а вот который год не сдаю, хочу на память чучело сделать. Выйдет ли только из сухой? Дорога мне эта куница. Садись, посумерничаем, я расскажу.

Есть у нас в Приильменской пойме дубовые рощи. Дубы высокие через всю лесную мелкогу прямо на Ильмень-озеро смотрят. А под ними — черемушины, рябинник, ивняк, крушина, — и все это хмелем перевито, вешней водой напоено; ветвится, кустится, человеку не пройти, хоть ползи. Подальше от берега редкое свидание — дуб с елкой встречаются. Вот тут-то и любит у нас проживать куница.

В ту осень пошел моему Пыжику третий год. Белок побил я с ним немало, трех енотов добыл, а вот куницу он понять не хотел. Следа не принимает, на сидящую не лает. Лайка кровная — отец добрый охотник, мать знаменитая куничница, а сын, выходит, не удался.

Погода была мягкая, порошки выпадали часто. Накануне того дня обошел я одну куницу большим кругом — километров десять.

Наутро выходим с Пыжиком на промысел, пороша свежая, чистая. Не долго ходили по окладу, прямо на разорванного рябчика напали и от него след куничий парной. Нюхнул Пыжик, отошел, ножку поднял, на носу нашлепка снежная, глаз пустой, — дурак дураком. А уж красавец какой — не налюбуеться: хвост бубликом, уши

как шилья торчат, черная шерсть лоснится, галстучек снега белее... Тьфу!

Пошел я следом. Долго ли, коротко ли шел через пенья, коренья да колодины, сквозь сучье да прутье, то по следу, то по посорке, а то и по охотничьему нюху, — пришел ко пню. Дальше следа нет. Пень высокий, метров пять, и наверху дупло. Подрубил я пень. Пыжика за ошейник взял, чтобы он под падающую деревину не попал, и спихнул пень острой жердиной. Выскочила из снега куница. Пыжик за ней, она на уход. Танцует красавец мой кругом, а зубом не берет. Подеревилась куница — пошла верхом. Пыжик ко мне вернулся, хвостом по спине елозит — похвали, хозяин.

Нашли мы эту куницу на другой день к вечеру. Собственно, нашел-то я, а Пыжик ходил вольноопределяющимся и белок искал. Пень — больше того, и дупло высоко. Дело к вечеру, вижу, не управиться мне засветло, надо закрыть зверя. Вырубил жердину, конец заострил, примерился — коротковата. Связал две жердины вместе, дотянулся, острым концом в дупло попал, повисли жерди. Вторую таким же манером воткнул, дело сделано. Не уйдет куница до утра.

Наутро подходим — от пня след тянется. Подгрызлась, окаянная, ушла. Опять погоня началась через пенья да коренья. Верхом идет куница по сукам, низом по прутнякам да по снежным пещеркам.

Долго нас таскала куница по лесной чаще и привела к елке, не елка — маяк. Внизу сучьев нет, в середине не проглядишь, а у вершины гайно* беличье. Постучал топориком по стволу — ничего, снег да мох серый валится. Выстрелил в гайно раз, другой — тишина, ни шороха, ни движенья.

* Гайно — гнездо.

Ветерок тут пошел, кухта с деревьев сыплется. Думаю, прозевал след, присыпало его где-нибудь. Надо уходить. Только топор за пояс устроил и пошел от елки, слышу, Пыжик тьякнул разок, потом другой. Подхожу. Моя собачка под елью снег нюхает. Что за притча? Посмотрел поближе — капельки крови на снегу. Ах ты мой дорогой, не дал уйти от добычи!

Живо срубил я козелки — елку с обрубленными сучьями, приставил ее к большой ели и добрался до гнезда. Там она и лежала, вот эта куница, уже мертвая.

Ты думаешь — и все? Нет. Побрели мы к дому. Сумерки уже, я иду довольный-предовольный: как же, по кунице голос дал Пыжик! А он по лесу так и чешет, промелькнет, и нету. Красавец и, может быть, не совсем дурак.

Слышу — залаял. И вот пошел разливаться, так и рубит, так и рубит, да с визгом. Подхожу... На голой ветке у ствола черный комок — куница! Заметила меня и пошла верхом на уход. Да не тут-то было. Пыжик за ней, где броском, где торчком на задних лапах. Опять посадил. Взял я и эту желтогорлую злючку. И пошла у нас с Пыжиком с той поры охота. В феврале я как хрустнул пачкой куньих шкурок на прилавке, сразу договору конец, а приемщик удивляется, видать, прослышан был о моей печали.

— Вот, — говорит, — охотник так охотник, с негодной собачонкой, а сколько куниц добыл.

— Сам ты, — говорю, — негодный. Про моего Пыжика так говоришь, а я за него теперь золота не возьму!

СНОВА УТРО

В Заборье Локтев попал в самом конце войны, прямо из госпиталя.

Низковатая, со знакомым кованым кольцом, дверь лесного кордона распахнулась легко. В сени вышла Катя. Она долго приглядывалась в полутьме, узнала и заплакала:

— Сашенька! Александр Николаевич! Не враз признала... Проходи... Старый-то какой вы стали... У меня не прибрано еще... Живы? О господи!

Локтев положил на пол заплечный мешок, сел у окна и хриповато спросил:

— Алешка где?

Спросил и весь напряжился. Так в кабинете зубного врача, в ожидании боли, пальцы заранее сжимают холодные ручки кресла.

— Алеша? — Катя распахнула окно. — Вон он на огороде ограду чинит.

В междурядьях оплывших грядок синел лед. Поставив на плашку жердь и придерживая ее подбородком, человек в солдатской одежде вытесывал кол. Пустой рукав гимнастерки был аккуратно затянут под ремень. Человек обернулся и расцвел лицом:

— А, Когтев, Локтев, Иван Дегтев! Приехал? Жив, значит. Я так Катерине и толковал: Сашка обязательно где-нибудь живой. Сейчас приду, руки только вымою. Кого гонять будем? Беляка или русака?

Это была их шутка, очень давняя шутка. «Беляком» называлась простая водка, «русаком» — старка или коньяк.

У Локтева дрогнули губы.

— Тьфу ты черт! Нервы...

Он оглядел избу. Немытая посуда укрыта полотенцем. На огрызке белого пирога небойкие весенние мухи. Лужица молока языком ползет по столу, сейчас побежит на пол. У порога в пробитой осколком каске киснет мятая картошка с отрубями. Как была Катька неряхой, так и осталась. Работящая, а неряха.

Печку, наверное, Алеша сам складывал: ряды кирпичей неровные, с широкими швами; подпорка уголка сделана из оружейной гильзы. Рядом оцинкованный бак с черной надписью «Рагрон», полный воды, нашел где-нибудь в лесу и приспособил.

Катя спешно прибирала кровать. Локтев следил за ее торопливыми движениями и думал: «Почти не постарела, только еще тяжелее ступает маленькими толстыми ступнями, и большие, нет, огромные светло-синие глаза чуть померкли. Обычно красивые глаза у некрасивых женщин украшают, освещают лицо, но у некоторых они только подчеркивают его недостатки. Так у Кати. Когда они были рядом с Зиной... Да, только по-настоящему прекрасное лицо выдерживает испытания сном, дождем и усталостью... Впрочем, это вообще не имеет значения».

Негромко стукнув лапами, с печи соскочил большой гладкий кот. Он мягко толкнул сапог гостя и запел.

«Кота успели завести, — подумал Локтев. — Живут уже люди. Дом, свой настоящий дом».

Стены старые. Обоев еще нет. Окна не крашены. На подоконнике... Что это на подоконнике? Синим карандашом нарисовано чудовище: на круглой голове дыбом стоят волосы, глаза скошены в разные стороны, ноги как две кочерги, на руках по четыре растопыренных пальца, — рисовала Аленка, его, Локтева, дочь.

В этом доме Локтевы проводили отпуск летом сорок первого года. Зина с Катей хозяйничали, в доме было чисто. Белое платье Аленки мелькало всюду: в огороде, в поле, у реки. Больше всего она любила ходить с отцом в лес. В прохладной тени они бродили по тропинкам, скользким от хвои.

— Папа! Я съела две земляничины; почему одна горячая, а другая холодная как лед?

Какое это простое и недоступное сейчас счастье — идти по ласковому летнему лесу и ощущать в сжатой ладони доверчивую руку ребенка!

Как ей досталось тогда от Зины за испорченный подоконник. Как Аленка, всхлипывая и не утирая бегущих слез, оправдывалась:

— Почему ты сердисься, мама? Я нарисовала ведь очень-очень хорошую девочку. Это Вика, она послушная и храбрая.

Аленки нет, Зины нет. И вот это полинявшее страшное лицо — храбрая Вика — все, что осталось... а подоконник окрасят.

День был на убыли. У крыльца над вытаявшим древесным мусором облачком толклись комары. По доске, брошенной через лужу, бегала трясогузка.

Локтев уходил на глухариный ток. Алексей вышел проводить. Над колодцем на голом шесте торчала скворечница. Скворец сидел на палочке у летка и пел. Пел неумолчно и горячо, вскидывая крылышки и надувая горло.

Четыре доски, крышка, донце и круглая дырочка — дверь. Небогатый дом у певца! А сколько радости!.. Правда, солнце теплым, желтым, как масло, светом залило скворечник. Правда, сверху очень далеко видно: все поля, опушку леса, пожалуй, и ледоход на реке. Ширь...

Локтев нагнулся, чтобы пролезть в изгородь, зацепился ружьем за жердину и чуть не упал. Алексей поддержал его, схватив за куртку. Оба рассмеялись.

— Силен.

— Одностволки всегда крепче бьют. Дай-ка прикурить, спички дома оставил.

Мужчины помолчали, слушая скворца.

— Вечер красивый, — сказал Алексей. — Тихо: смотри, дым-то как... И парит.

— Выходит, что ты жив и все по-старому, — задумчиво сказал Локтев, всматриваясь в спокойное лицо друга, знакомое, с незнакомым шрамом, вздернувшим уголок губ так, словно они скажут сейчас что-нибудь смешное.

— Подправил скворечник — и живу. А у тебя что? Не хотел при Катерине спрашивать. О Зине и Аленке больше ничего?

— Ничего.

— Н-да... Прости, глупо спросил... Ты только не вздумай идти через Коровий ручей: вода большая, наберешь за голенища. Обойди верхом, через Долгие Нивы, а там по зимнику и до боровины. Не забыл?

— Помню.

— А то остался бы, пожил, отдохнул. В субботу вместе бы пошли.

— Не могу, Алешка, тянет.

— Ну, давай тогда. Ни пуха тебе!

Алексей вошел в кухню, резко закрыл дверь. Вздулись оконные занавески, и кот ринулся на печь.

— Ты что? — спокойно спросила Катя и вдруг закричала злобно и горячо: — Ничего твоему Сашке не сделается! Мужик один не останется. Обрастет, как стриженный.

— А тебе какая печаль? Чего кричишь? — удивился Алексей и привычно потянулся здоровой рукой к этажерке, где лежала гармоника. Потом вспомнил, отдернул руку и ворчливо добавил: — Хоть бы пыль с гармошки вытерла!

Локтев шел на ток. Чуть заметная тропинка тянулась вдоль канавы к лесу. Солнце за день пригрело склон. Под ногами шуршала сухая трава. Вспорхнула бабочка-траурница и тут же опустилась на теплый камень. Опушка леса гремела песнями зябликов.

Локтев сел на брошенную через канаву плашку и свесил ноги в воду. Веселая струя с шумом поднялась к самым отворотам сапог. Локтев нагнулся. Из воды глянуло бледное лицо с морщинками у недобрых глаз и прямым, чуть вздернутым носом. Такой же нос был у Аленки, поэтому и говорили: «Вся в отца».

Пришлось солгать Алексею, на самом деле в лес не тянуло и идти дальше решительно не хотелось. Непривычная тишина, охотничье ружье — легкое, с тонкой ложей, вместо привычной винтовки, лес, где придется стрелять давно не виданных птиц, — все какое-то чужое и немного детское.

Лягушка согрелась на припеке, плюхнулась в канаву, остыла, распялилась и замерла.

Локтев долго следил, как она черным крестиком скользила над донным льдом, крутясь на перекатах. Усмехнулся в душе невесело: «Тащит меня жизнь, как эту лягуху».

Идти было легко. Снег стаял, но дно еще не вышло. Только иногда нога с хрустом посовывалась в окнище между корнями.

Приготовив ночевку, Локтев пришел на подслух. Сидеть на охапке еловых лап было хорошо. За спиной покатый выворот, под ногами моховая подушка.

Что-то неприятное случилось в дороге. Надо обязательно вспомнить, а то будет долго мешать, как заноза в пальце. Да! Свежая гарь отдавала немирным запахом пожарищ, и еще — на вырубке чуть не проколол сапог чужой, но знакомой, очень знакомой колючей проволокой. Еще подумалось: «Надо же куда добрались, дьяволы, — до самых глухариных токов!»

Локтев застегнул ворот, надел перчатки, положил на колени ружье и стал слушать. Пока шевелился, различал голос одного певчего дрозда; когда утомонился, оказалось, что поет их очень много: на самой гриве, в кромке болота и далеко-далеко за вырубкой.

Локтев очень любил свою довоенную работу инженера-строителя, дороги тогда были свободные дни, даже часы, когда можно было взять со стенки ружье, торопливо набить рюкзак. А вот теперь — никуда не надо торопиться, и это самое плохое...

Большая птица, со свистом разрезая остывший воздух, летит над вырубкой. Ближе, ближе! Мелькает между деревьями и с грохотом садится в вершину корявой сосны. Глухарь! Первый прилет. Но почему не стучит сердце? Почему не дрогнула рука, не сжалась на ружейных стволах? Ведь это глухарь — таинственная птица детства, мечта охотничьей юности. Память подсказала, как отец под праздник приносил домой глухаря. Радостно ахала мать, ребята гладили сине-зеленые, металлом отливающие перья. Под общий смех он, Сашенька, пробовал удержать в руках грузную птицу.

Первый глухарь, добытый на току, помнится, как первая любовь. А потом уже в свой, не отцовский дом приносил Александр Николаевич этих больших нарядных

птиц. Сбегались соседи, удивлялись. Аленка, пытаясь поднять нежными руками глухаря, спрашивала: «Папка-карапка, где ты орла убил?»

Второй прилет... третий... один за другим, и все разные: то шумные, с долгой возней в сучьях и покряхтыванием, то далекие, легкие, как посадка рябчика. Много налетело глухарей на ток.

Похолодало, застыли капли на планке ружья, черная веточка льда перекинулась через лужу.

Смолкли певчие дрозды. Остался один певец. Как палочка, торчит он на самой макушке ели и никак не может отказаться от радости бросать в притихший лес звучные посвисты.

Наверху, с хвойных вершинок, не ушел еще красноватый солнечный свет. Внизу уже давно зябкие, жутковатые сумерки.

Дрозд оборвал последнее сочное колено и юркнул в уютную черноту еловых лап. Там у него, верно, гнездо, дом.

Первая звезда зажглась очень высоко над головой, вторая проглянула сквозь голые сучья березы. Третья села на еловую лапу. Пришлось пошевелить головой, чтобы она вернулась в сумеречное небо. Лес уснул.

Ночевка была приготовлена на сухом бугорке у старой ели. Здесь по веснам жег ночной костер еще отец Локтева.

Вспыхнула спичка, легкое пламя, лизнув бересту, разбежалось по сухим еловым прутикам. Придвинулась и стеной встала у огня ночь. В световом круге остались ружье на обрубленном суку, раскрытый рюкзак и брошенный на мох топор.

Локтев сел на низкую постель из еловых лапок.

Он один в лесу у старого кострища. Упал в огонь котелок, совсем так, как получилось тогда, давно, у Юрки. А Юрка где?..

Тоненько запела палочка, брошенная в угли.

На том корне любил сидеть Женя. Он мурлыкал флотские песни и всегда клал в трубку несколько еловых иголок, чтобы пахло лесом, а сверху, обжигаясь, пристраивал уголек.

Наверное, закарпатские девушки и в эту весну положили венок из брендух — первых цветов — на его солдатскую могилу.

Гаснет костер.

Гриша любил слушать тишину и не сердился, а смеялся, если охота была неудачной. У песчаного берега, где шипят на морском ветру сосны, рыбаки, не задерживаясь, обходят осыпавшийся холмик.

У Володи всегда были с собой конфеты. Он любил мятные — они хорошо холодят рот, сухой после бессонной ночи.

Он жив, но не знает больше весны. Если жена или дочь подкатят кресло к окну, он может увидеть только, как тает городской грязный снег.

Совсем темно стало; подкинуть, что ли, сушняка?

Ярче, огонь! Слишком много теней у маленького глухариного костра.

Оглушительно, возвещая полночь, затрубили на мшарине журавли.

Локтев долго не мог уснуть. Спине было жарко от огня, со стынувших коленей упрямо сползала куртка. Разбудил тревожный запах паленой шерсти. У самой щеки, на воротнике, тлела искра.

Часы показали, что спал он всего десять минут, но времени на сон больше не было. Кружка горячего чая прогнала дрожь. Локтев встал, открыл ружье, проверил патроны и залил из котелка костер. Горячий пар шумно запрыгал над углями, и сразу стало совершенно темно. Протянув руку, охотник двинулся вперед. Глядя в небо,

он по узкой светлине среди древесных вершин нашел просеку и, часто оступаясь, побрел к току.

Лес спал. Тьма и тишина берегли отдых в короткую весеннюю ночь. Слышно было, как в лужах от каждого шага поднимались и лопались пузыри. Треск сухой ветки под сапогом казался страшно громким, его, наверно, слышали все, кто должен сейчас спать, — мыши в этой куче хвороста, глухари и даже журавли на дальнем болоте.

Впереди показалось белое пятнышко. Это платок, привязанный с вечера на середине просеки к ольховому прутику. Теперь пятьдесят шагов в сторону — и место вечернего подслуша: знакомый выворот и охалка еловых лап.

Но присесть не пришлось. Почудилось, что далеко, за черной стеной леса, поет глухарь. Локтев открыл рот и так внимательно слушал, что задохнулся. Да, так рано и — поет.

Торопиться нет смысла. Можно спокойно идти под песню. Все равно в такой темноте ничего не увидишь.

Еще раз протрубили за вырубкой журавли, и оттуда потянул вальдшнеп. Невидимый, он громко цикнул над головой охотника и, затихая, пошел дальше.

Все ближе и ближе звучала песня глухаря, простая и такая необыкновенная. Локтев мягко шагал в такт песне. Останавливаясь, каждый раз слышал ее звонко-шипящее окончание. На сухой гриве, под большой сосной, он замер, раздосадованный. Песня слышалась с разных сторон, — значит, подскочил слишком близко и глухарь над головой.

Локтев осторожно, по одному шагу на глухую песню стал отступать. Вот уже видна верхушка сосны, нечеткая в мутном небе. Песня звучит громко, слышен даже шорох перьев, а самого певца не видно.

Шаг в сторону, еще шаг и еще. Полный круг. Ничего не видно в темной хвое.

Локтев положил ружье на сухой мох, лег рядом на спину, слушал и смотрел. Неподалеку что-то треснуло, и глухарь оборвал песню.

«Наверное, лоси прошли, подшумели глухаря, — подумал Локтев. — Теперь долго придется ждать. А может, и совсем не запоет».

Лес просыпался. Дятлы барабанили зарю на дуплистых вершинах. Нескончаемо звенели зяблики. Вкрадчиво и неожиданно, первый раз сказала песню кукушка. Через весь лес перекликались певчие дрозды.

«Оок! Оок! Оок! — закричала где-то близко в болоте глухарка. — Оок! Оок! Оок!»

И глухарь сразу ответил — заточил яро, как раньше, песню за песней. Локтев сел, наклонился в одну сторону, в другую. Вот он, большой коричневокрылый петух; сидит почти на самой вершине, сверкает белым пятном подкрылья, яростно трясет зеленой шеей.

Выстрел грубо, но ненадолго оборвал птичьи разговоры в лесу.

Когда Локтев подошел к болоту, солнце сквозило между рыжими стволами сосен. Туман расстилался по мшарине, и там, невидимые, гремели крыльями, щелкали и точили глухари, сливая голоса в единую неумолчную песню.

— Замечательный ток! — радостно и почему-то вслух сказал Локтев и тут же подивился слабости и никчемности голоса.

Но радость и неожиданное ощущение счастья не уходили. Захотелось рассказать Алексею, какой большой ток собрался на боровине. Потянуло к людям. Локтев поправил на плечах тяжелый мешок зашагал вниз по ручью, чтобы напрямик выйти в поле.

Быстрая, играющая слепящими бликами вода разлилась по всей пойме и продолжала прибывать, обламы-

вая с затопленных ивовых кустов пластиночки льда, пристывшие за ночь. Тонкий, нескончаемый звон стоял над ручьем.

Все было прекрасным в это прозрачное весеннее утро. Кулик-перевозчик, потряхивая крыльями, словно танцуя, перелетел с берега на берег. В заводине близко подпустил кряковый селезень. Он бойко взлетел, подняв водяную пыль, и маленькая радуга заиграла там, откуда вспорхнула нарядная птица.

Облачко синей перелески лежало на полянке у ног белоствольных берез. Откуда-то появился заяц; заметив человека, он неохотно допрыгал до синего облачка и прилег среди цветов. Локтев улыбнулся забавной мысли, что заяц выйдет из них голубым.

Седое от инея поле отсвечивало солнцу тысячами светлых искр. У опушки, то яростно чуфыкая, то воркуя, как голубь, токовал тетерев.

Много раз видел Локтев полуую воду, селезней в брачном пере и поющих косачей, но сегодня удивился всему этому по-иному, на душе стало радостно. И чем радость становилась сильнее, тем больше хотелось к людям. Локтев уже почти бежал по дорожке над откосом, желтым от веселых глазков мать-и-мачехи.

Над домиком лесника неподвижно утвердился столбик прозрачного дыма — Катя печку топит. Самовар уже, верно, готов; шумит, на солнце поблескивает. В избе свежим хлебом пахнет. Сядем сейчас с Алешей за стол...

А что, может быть, и мне тут рядом скворечник поставить? Или лучше опять для других строить?

Из синего-синего неба, прямо от перистого облачка, донеслись странные голоса — не жалоба, не разговор, не песня, а словно призыв: «К нам! К нам!»

Гуси летят! Гнутая цепочка больших птиц плывет не торопясь.

Зовет большой мир.

Дымок над домиком друга, пониже в долине дымки над другими домами, а дальше еще долины, и еще дымки, и еще...

И в каждом доме, и здесь и там, куда полетели гуси, на берегах лесных речушек, и в тундре, и на берегу студеного моря скажут тебе: «Здравствуй! Заходи. Как раз к чаю. Вроде я тебя где-то видел...»

Доброе утро, родная земля!

КУН

Удача! Большая удача пришла к Желтогорлому. В эту ночь он поймал в снежной пещерке рябчика и перед самым рассветом нашел пчелиный улей в дупле одинокой липы.

В дупле было тепло, сонные пчелы вяло ползали по сотам.

Желтогорлый лакомился вволю, откусывая белоснежными зубами мед вместе с вощиной. Когда начали меркнуть звезды и полоска морозной зари утвердилась над вырубкой, Желтогорлый спустился головой вниз по шершавому стволу липы. По берегу речки на вырубку, сквозь занесенный снегом сосняк, на еловую гриву печатал кун на свежей пороше парные чуть продолговатые следы. Он нашел осину с обломанной верхушкой, вскарабкался до первого дупла и спрыгнул внутрь на сухую подстилку. Свернулся клубком и сладко уснул.

Близко к полудню пришел в лес старый охотник. Он был без ружья — выбирал для ребят новогоднюю елку.

Обманывали елки. Стоит красавица, пышная, ровная, снегом украшенная.

Бух обухом по стволику!

Берегись — обвал! Стала елка тоненькая, реденькая, и сук кривой. Перебрался к другой. Хлоп обушком! Опять не то.

Десяток забраковал, подошел к осине с обломанной верхушкой. Глянул на снег — и топор за пояс; тянутся куны следы к осине, а дальше хода нет. Поднял голову — дупло.

Заговорило охотничье сердце: «Ты спишь здесь, большой кун! Мы знакомы. У тебя рыжее, как зимнее солнце, горло и очень темный мех. Я узнал тебя по длинным прыжкам. Ни одна куница в округе не ходит так. Мы встречались, но ты был хитрее меня. Ты попался наконец, Желтогорлый!»

Охотник вырубил невысокую жердь, воткнул в снег прямо против дупла. Повесил на жердь куртку; снял шарф, завернул в него несколько еловых веток и приладил на сучке сверху. Усмехаясь в бороду, охотник налегке побежал в деревню за ружьем.

Желтогорлый проснулся от шороха шагов. Очень близко кто-то ходил, стучал и кашлял.

Когда все стихло, Желтогорлый, не высовываясь, глянул из дупла. Внизу молча стоял человек и смотрел вверх.

Кун спрыгнул на подстилку и затаился.

Время шло. Еще и еще раз выглядывал Желтогорлый. Страшный человек не уходил; покажешься — пропадешь!

Синяя туча что-то шепнула самой большой ели. Ель согласилась, кивнула соседке, соседка — другой, и все загудели вершинами, закачались, роняя белые комья.

Ветер спустился вниз, откинул полу куртки у страшного человека, показал деревянную ногу. Дунул еще раз, сбил шапку и повалил чучело.

Снова из дупла показались круглые уши, черные глаза и оранжевое горло. Человека не было.

...Горячий, весь в снегу, прибежал охотник к заветной осине. Глянул на голую жердь, на след беглеца — понял, что опоздал.

На снегу лежал странный помет куницы — почти чистый воск.

Весело рассмеялся старик:

— На этот раз мы честно поделимся, Желтогорлый: тебе останется жизнь, а мне — пчелиная семья.

Охотник накинул на плечи куртку, поднял шарф и зашагал по куньим следам в пяту: от еловой гривы, сквозь занесенный снегом сосняк — на вырубку, по берегу реки — к одинокой липе, где в дупле хоронился пчелиный рой, найденный куном.

ЗЕЛЕННЫЕ ГЛАЗА

Жадай сменил голос. По зайцу у Жадая голос баритональный, с грустноватой второй, а тут совсем другой — частый, резкий, с азартным привизгом, рубит и рубит без перемолчек. Павел Кузьмич улыбнулся и посвистал условным двойным посвистом. Из ельника, озираясь и прислушиваясь, вышел на просеку Алеша:

— Что с Жадаем?

— По красному гонит. Думаю, на лисицу перешел... Посмотрим.

Охотники пошли вперед и наткнулись на свежий след. Павел Кузьмич наклонился, рассматривая:

— Вот так лисица! Рысь, и здоровенная. Гляди.

Алеша увидел незнакомые следы — круглые, большие — почти с блюдечко, и тянутся ровной цепочкой.

— Что делать?

— Рысь стрелять. Она будет в ельнике крутить небольшими кругами, как беляк, а потом, потом... В общем, постарайся ее заметить и сразу стреляй, хоть на сто шагов. Только бы дробь около чиркнула — сразу подеревится...

— На дерево заберется?

— Ага... Постой! Если на дереве бить придется, через сучья нельзя. Зайди поудобней и бей намертво. Подранишь — собаку покалечит. Видел, у Жадаея щека порвана? Был такой случай. Иди...

Выпавший за ночь снег совсем задавил ельник. Там, в снежной крепости, под еловыми лапами, по заячьим тропам, по извилистым ручьевинам шел гон. Подстоять зверя было невозможно. Поди сунься в чапыгу — наберешь снегу за шиворот и в карманы, голоса собаки не слышно, а рысь? Рядом пройдет — а не заметишь.

Павел Кузьмич вышел на высокий берег речки. С опушки, роня ледяную пыль, с шумом взлетела стая тетеревов. Охотник проводил их взглядом, потом посмотрел вниз и вздрогнул. По нетронутой пелене снега, осторожно обходя польню, шла рысь. Рыжий бок зверя светился, как солнечный блик, на синеве пороши.

Стрелять далеко, но Павел Кузьмич прицелился чуть вперед и повыше и нажал на спуск. Крупная дробь вздыбила белые фонтанчики рядом с целью. Рысь, мягко изогнув спину, подскочила на месте и в три прыжка скрылась в кустах.

Ближе и ближе голос Жадаея. А вот и он — горячий, шумный, грудью пробивается сквозь прибрежные надувы. Миновал польню, примолк там, где рысь метнулась после выстрела, и вот зачастил, загамил, погнал вниз по реке и опять смолк — резко, как оборвал.

Из лесу показался Алеша, подошел вплотную и почему-то шепотом сказал:

— Как сильно порохом пахнет — это на морозе. Попали?

— Не думаю. Далеко. Может быть, крайними дробинами зацепил, только вряд ли.

— Почему молчит? Бросил?

— Черта с два он бросит. Скололся. Слушай, сейчас опять загремит.

Но лес молчал. Попискивали синицы, кувыркаясь в еловых лапах, где-то далеко пробасил заводский гудок, ближе, за рекой, нервно пропела электричка, а гона все нет и нет. Охотники тронулись к следу. Широкая, голубая на изгибах борозда протянулась вдоль речки. Прохлестнула кустарник, пробилась на пойменную луговину, опять нырнула в кусты, пошла на бугор и... пропала, да, пропала — исчезла под землей на крутом склоне берега. Черная дыра, края заиндевели, и тут обрывается след.

Алеша опустил на колени, нагнулся к норе и прислушался. Далеко внизу слышался лай.

— Жадай там. Что это, барсучья нора?

— И хуже и лучше — старые каменоломни. Сто лет назад для петербургских тротуаров плиту ломали. Постоим, может, выпрет ее оттуда, а? Отойдем в сторонку, чтобы не слышала.

— Постоим.

Время было за полдень. Низкое солнце пыталось пробиться сквозь тучи — бледный диск скользил за туманной дымкой. По кустам, грустно посвистывая, перепархивали снегири. Присаживались на снег, проваливались до самого брюшка и, недовольные, взлетали. Алые грудки птиц в этот пасмурный день казались темными.

Из норы донесся визг, посыпались камешки, выскочил Жадай и затряс головой. Из порванного уха брызнули на снег капельки крови.

— Стоять! — строго крикнул Павел Кузьмич, схватил собаку за загривок, вынул из кармана ошейник с поводком и с трудом надел на вырывающегося пса.

— Привяжи его, Алеша, к ольшине, я руки оботру, закровянил все, хорошо, что только ухо.

Охотники стояли на речном откосе, смотрели на темное отверстие у ног и молчали.

Алеше ничего не надо было решать, он подручный в этой охоте, ученик. Странно все обернулось. Поехали на выходной зайчиков пострелять, а тут рысь, хищник. Опасный или нет? Спрашивать неловко. Дядя Павел подумает, что трушу. Не пришлось видеть живую рысь даже в зоологическом. На картинках видел: уши кисточками и хвост короткий, глаза злые. Жалко, что ушла! Ребятам бы сказал — так, небрежно: вчера с дядей Павлом рысь стукнули, порядочную. Мама сначала бы удивилась, а потом испугалась. Наденька — сестренка, поди, не знает, что такие и звери есть под Ленинградом. Вспомнил! В газете было: «Происшествие... Смертельная схватка. Разъяренный хищник бросился на охотника, оскалив клыкастую пасть...» Ну ее к черту! Хорошо, что ушла в эту дыру.

— У тебя фонарик с собой? — спросил Павел Кузьмич.

Он думал иначе. Бывал в каменоломнях. Если второго выхода у шахты нет — рыси деваться некуда. Затаилась где-нибудь. Надо сразу стрелять, навскидку, как на стенде. Алеша в поезде фонариком хвастался, особенным — можно и красный, и зеленый свет дать. Мальчишка еще совсем. Пригодится фонарик. Только одному и светить, и стрелять не выйдет. Пусть парень идет позади и светит. Жадая надо оставить. Хозяин рядом — бросится сразу, склубятся... как стрелять? Противно, конечно, в подземелье лезть. Оставлять тоже нельзя. Когда еще такой случай выйдет?

— Есть фонарик — в рюкзаке.

— Достань-ка. Пойдем.

— Куда?

— Туда, — показал на пещерку Павел Кузьмич, — иди сзади. Вперед не суйся, свети внимательно во все щели и не торопись. Жадая хорошо привязал? Не сорвется?

Вход в каменоломню оказался узким. Пришлось откинуть несколько камней. Глыбы плитняка, как живые, грохоча и подпрыгивая, катились вниз по склону и затихали на речном льду. Павел Кузьмич лег на снег и стал прилаживаться, как бы удобнее спуститься в пещеру. Жадай завыл в полный голос и завертелся на привязи. Не поднимаясь, охотник повернулся и прикрикнул на собаку.

Высокие резиновые сапоги смешно поболтались в воздухе и скрылись. Алеша просунул голову в яму.

— Спускайся смело, тут невысоко, только встать, — глухо донеслось из черноты.

Пещера начиналась узким коридором. Алеша засветил фонарик. Охотники миновали коридор и попали в высокую пещеру, похожую на комнату. Здесь было душновато и неприятно пахло. При входе на большом камне стояла керосиновая лампа. Пыльная, ржавая, но со стеклом и остатками керосина.

Павел Кузьмич носовым платком протер стекло, подул в него и зажег фитилек. Вокруг посветлело. Влажно заблестел высокий свод потолка. Вдоль стен дощатые постели с черным от времени сеном. Ближе к середине стол из большой тонкой плиты и вместо стульев деревянные ящики. В нише навалом позеленевшие винтовочные патроны, немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками и винтовка без приклада.

Алеша протянул руку к винтовке.

— Стой! — удержал его Павел Кузьмич. — Не тронь! Ничего не тронь — все поржавело, нарвешься на какую-нибудь гадость.

— Кто тут жил?

— Партизаны, наверно. Видишь кусок газеты? Интересно, какой год... Тысяча девятьсот сорок третий... Наша, русская. Сводка напечатана. Добывали, значит, свою газету. Или сбрасывали им. Погаси фонарик, побереги, с лампой пойдем — тут ветра нет. Держи. А ведь это падалю пахнет. Откуда она здесь? Тьфу, пакость! Пошли дальше.

С ружьем на изготовку, не снимая пальца со спускового крючка, Павел Кузьмич шел впереди, внимательно осматривая все закоулки. Рыси не было. Осталась одна расщелина, глубокая и, видимо, с поворотом.

— Подними лампу повыше, — распорядился Павел Кузьмич и решительно шагнул вперед. — Смотри-ка! Тут еще «комната».

Вторая «комната» была поуже и пониже, и стенки не такие ровные, все в трещинах и с отнорками. Надо было осмотреть все. Не дошли еще и до середины «комнаты», как лампа затрещала, вспыхнула ярко и погасла.

— Зажги фонарик.

— Сейчас... Подождите... Вот черт!

— Что такое?

— Оставил в первой пещере на столике.

— Ничего, лампа еще погорит, это она так. На спички, слышишь?

Алеша протянул руку туда, где стучал коробок, неловко ткнул его пальцами и уронил.

— У вас есть еще спички? Уронил.

— Нет. Буду стоять на месте, а ты пошарь.

Алеша опустился на колени и принялся водить руками по сыроватому, покрытому щебенкой полу. Неподалеку зашуршало и посыпались мелкие камешки.

Неужели рысь пошла? Бросится в такой темноте, стрелять нельзя, голыми руками не отбиться.

— Не бойся — не рысь, — прозвучал голос Павла Кузьмича, — камни со стен сыплются.

— Знаю, что близко нет. Глаза бы светились. Она ведь кошка, у них ночью глаза что фонари.

— Чепуха! У зверей глаза только отсвечивают, а здесь видишь какая темь.

— Дядя Павел, могут здесь быть зубы?

— Какие зубы?

— Настоящие, большие. У меня под рукой. Стойте! Спички... Сейчас зажгу.

Пощелкивая, неохотно загорелась лампа. На полу — кости, клочки шерсти, череп с острыми зубами. Павел Кузьмич повертел его в руках и удивился:

— Волк! Здоровенный. Залез сюда раненый или по старости и пропал. Пошли дальше, пока опять не погасла.

Охотники осмотрели все до самого тупика, все, кроме самых узких и извилистых щелей. Рысь исчезла!

— Вернемся за Жадаем, — решил Павел Кузьмич, — собака сразу покажет, куда делась проклятая животина.

Обратный путь прошли скоро. Оставили лампу в первой пещере, захватили фонарик, под радостный рев Жада вылезли из пещеры и вдоволь надышались чистым морозным воздухом.

Теперь Жада вел на поводке Алеша. Вот коридор при входе, место, где ждал Павел Кузьмич, рукавицы, брошенные им на приполке. Злобно взревел и прыгнул на стену гончак. Алеша поднял фонарь. Высоко в нише вспыхнули два зеленых глаза, яркие, неподвижные.

Приходилось ли вам стрелять в комнате? Если приходилось, вы поймете, какой это сильный гул, как больно хлещет по ушам выстрел. Тяжелый зверь мягко скользнул по камню и лег на ноги Павла Кузьмича. Жадай щучкой кинулся на недвижимого врага.

Охотники не сразу пошли домой. Развели костер и вскипятили чай.

Алеша смотрел на розовую закатную зарю, на спокойные синие снега и на рысь. Большая кошка с темными и четкими пятнами на светло-рыжем меху протаяла снег и казалась плоской. Говорить не хотелось, подрагивала в руке кружка.

ТИМОФЕЙ

— Просто смешно, Гришка, что мы не можем убить медведя, — сказал Алеша и потрогал не знакомые еще с бритвой усики, что служило у него признаком душевного волнения. — Охотимся не первый год, не новички, и медведей в наших местах немало, а удачи нет. Рассказывал батя — били их в старое время возле нашего Заборья до десятка в год.

— Что же их теперь не бьют?

— Непонятно. За последние годы небольшого медведя подкараулили на овсах, ныне в марте военные охотники добыли медведицу, двух живых медвежат из берлоги взяли. Вспомни, в Заборье рассказывали: под самой деревней звери ходят — то пастух заметит, то женщины в малиннике наткнутся, то агроном в овсяном поле. Видел, как дальняя нива была помята? В лоск уложена, все метелки пососаны!

— Тоже мне медвежатник нашелся. Купи себе рогатину и броди по лесу, ожидай случая с Михаилом Ивановичем переведаться.

— Рогатины мне не надо — ружье есть. А медведя — найду обязательно. Если снег выпадет рано и застанет зверя на ходу, можно будет найти берлогу или хоть об-

ложить зверя в кругу. Как хочешь, а в этом году попробую; поскорее бы снег выпал!

— Пустое, Алексей, задумал. По порошке лучше зайчиков погоняем.

Первый снег выпадает всегда нежданно, когда еще и не думается о зиме. Выйдешь на улицу и удивишься: под фонарем и в светлых полосках автомобильных фар струится какой-то беловатый дождь. Протянешь руку — и ладонь чувствует легкие уколы снежинок. Надо хорошо приглядеться к ним, чтобы увидеть, какие это чистые, ладные звездочки.

Алеша смотрел из окна вагона на светлые поля, на белые шапки пней и кустов и под стук колес размышлял о предстоящей охоте.

Было все взвешено и обдуманно. Лабораторное задание в институте сдано досрочно, это давало три свободных дня. В туго набитом мешке — продовольствие, теплое белье, котелок и топорик на случай ночевки в лесу. В нагрудном кармане в резиновом чехольчике запасная коробка спичек и карта, рядом компас. На пояске маленький патронташ с пулевыми патронами.

Охотник ехал один. Гриша отказался под каким-то легковесным предлогом.

— На зайчиков? — приветливо спросил сосед-старик и добавил: — Самая пора по первой порошке.

Алеша считал себя вполне взрослым человеком и достаточно опытным охотником, но постеснялся сказать, что едет искать медведя, и выдавил хриплым от долгого молчания голосом:

— Да, на зайцев. Надо поискать.

Старичок придвинулся и доверительно сообщил:

— Вы бы к нам приехали, в Вяжищи. Медведя уйма. Все овсы посмяли, семян не собрать; нетель у соседа зарезали. А охотников — никого. Вот это охота! Как хлопнул — сразу медведь, а не зайчишка какой-нибудь.

Вяжищи были недалеко от Заборья, куда ехал Алеша. Но он опять ничего не сказал: настоящие «зверовые» охотники не болтуны.

На полустанке, где одиноко светил тусклый фонарь на деревянном столбе, Алексей соскочил на покрытую снегом насыпь, поправил на спине мешок и по шпале, перекинутой через канаву, вышел на знакомую тропинку.

Через час он подошел к маленькому домику и постучал в крайнее окно.

— Кто там?

Вспыхнула спичка, медленно засветились окна. Хозяйка в валенках на босу ногу вышла на крыльцо.

— Заходи, заходи. Не ждали тебя в будень-то... Гляди-ко, сколько снега навалило, и все летит...

В комнате было тепло. Тикали ходики, время от времени из рукомоЙника звонко шлепались в таз тяжелые капли.

Алеша проснулся потому, что в избе посветлело. Неужели проспал? Он резко сбросил с кровати ногу и тут же успокоился — окна совсем черные, яркий, рыжий свет идет от печки.

Тетя Даша кинула на сковородку раскатанную лепешку; разом заскворчало сало, и чудесно запахло свежим хлебом.

— Поспи часок. Куда торопишься? — ласково сказала хозяйка, отвернувшись от огня.

— Какой тут часок! И так без малого проспал, — обуваясь, деловито отозвался Алеша.

Хороши свежие лепешки, чай с молоком, картошка — такая горячая, что в руке ее не удержишь.

Чуть посинели стекла в окне, когда охотник вышел из дома. Деревня провожала теплыми огоньками и незлобным собачьим лаем. Снегопад давно прекратился, желтая полоска рассвета была совсем прозрачной.

Алеша оглянулся, посмотрел на подчеркнутые снегом линии карнизов и заборов, на мягкие очертания кустов и вспомнил отцовскую песню: «Как со вечера пороша выпадала хороша».

Пороша! Старинное русское слово, милое не только охотнику. Если снег падал днем или с вечера, а среди ночи прояснело и погода унялась — это и есть настоящая пороша. Привычный глаз многое читает на ее белизне. Узнаешь, кто был здесь темной ночью или на рассвете и вот только сейчас скрылся, потревоженный шагами.

Четким узором простегнул заяц-русак деревенские огороды, осмелился пройти проулком под окнами у местного охотника. Здесь русак кормился мерзлыми кочерыжками на капустнике. За околицей к нему привязалась деревенская собачонка, но он легко обманул ее на гладком льду речушки, скинулся в ивняк и ушел к далеким гумнам...

По краю поля ровная строчка лисьего следа...

Алеша вошел в лес, остановился и заложил в ружье пули. Это было непривычно и как-то сурово. Ведь обычно он заряжал ружье дробовыми патронами.

Закинув двустволку за спину, он быстро пошел к дальним овсяным полям. С них лучше всего было начать обход.

Лениво просыпается день. Воздух прохладен, напоен запахом свежего снега и еще каким-то едва уловимым ароматом — размятой хвои или прихваченной морозом ягоды.

Очень тихо в лесу. Хорошо слышно, как на опушке повизгивают дрозды, за полем в деревне лают собаки,

а там, где синяя кромка леса почти сливается с дремлющим небом, гукает паровоз.

Алеша рассчитывал, что медведь, перед тем как лечь в берлогу, зайдет на овсянице навестить несколько забытых на нем снопов, но, обойдя все поле, не нашел ничего; даже зайцы-беляки по первой пороше не дали следа.

Алеша заторопился к Черному озеру. Окруженное со всех сторон старыми вырубками и малинником, оно считалось у местных жителей медвежьим углом. Ягодницы жаловались, что часто натываются на следы медведей — разворошенные пни, свежий помет, изломанный, потоптанный малинник.

Охотник обошел озеро, полюбовался, как на середине плеса в дымящейся полынье ныряют черневые утки, и направился в старый елово-осиновый лес. Километра три прошел по узенькой просеке, перекрытой узловатыми ветками осин и мохнатыми лапами елей, и присел отдохнуть. Алеша немного устал, ведь дело шло к полудню. Рядом ласково булькал ручей, сушняк кругом сколько угодно — стакан чая утолит жажду и подбодрит. А подбодриться надо было.

Застучал топорик. Дятел на мгновение прервал шумливую работу, пискнула и вылетела из хвойной гущи синица.

Костер разгорелся от одной спички. Отметив это без гордости, Алеша вытащил из мешка котелок, посвистывая, спустился к ручью и обмер. Под елями на неглубоком снегу совершенно четко виднелся след. Мощная подушка передней лапы, отпечатки задних, похожих на босую человеческую ногу, округлые пальцы, перед каждым прорезь от когтя.

Дело минуты запихнуть обратно котелок и раскидать костер, открыть двустволку и проверить патроны. И хотя Алеша знал, что ружье было заряжено, но так вернее.

Взглянув на часы, он передвинул на поясе нож, чтобы не стучался о ружье, поднял курки и, внимательно поглядывая по сторонам, двинулся по следу.

Медведь шел не торопясь, нога за ногу, обходил суковатые поваленные деревья и легко, одним прыжком перемахивал через голые стволы, не задевая лежащий на них снежный брус. След тянулся по прямой. Казалось, медведь направлялся в дальний угол «казенных кварталов». Однако, не доходя до Светлого ручья, зверь круто свернул в старую гарь.

Много лет тому назад большой пожар захватил этот торфянистый участок леса. Огонь повалил деревья и выжег огромные ямы. Прошли годы, гарь одичала, поросла малинником и частым ольшаником.

Отец, бывало, рассказывал, что медведь, прежде чем лечь в берлогу, путает следы — петляет, делает двойки, возвращаясь лапа в лапу назад, скидывается в сторону огромными прыжками. А этот — этот пока шел прямо, значит, ляжет не скоро. Но обойти всю огромную гарь просто невозможно, до вечера времени не хватит.

Алеша спустил курки, повесил ружье на плечо и полез в чащу. Было трудно пробираться сквозь колючий молодняк, перелезать через завалы и ямы. Удивительно, как тут прошел грузный зверь. За шиворот насыпалась колючая смесь из снега и древесного мусора, перчатки промокли насквозь, щека и глаз горели от хлесткого удара ветки. Один раз охотник зацепился за корень и с треском ухнул в какую-то яму. Подумалось, что зверь услышит погоню.

Чаща поредела, впереди появился островок леса, под ногами захлюпала вода. Разгребая заблестевшими голенями сапог ледяную кашу, Алеша, облегченно вздохнув, вышел на сухую островинку. След вот он, но когти направлены навстречу. Двойка! Медведь прошел по своему ходу назад. Где он теперь? Может быть, вернулся

в гарь, может быть, пересек остров, а может быть, лежит здесь, рядом, за стенкой елового подростка? Алеша стянул с плеча ружье.

Угрюмо молчал лес. Нахмурилось по-зимнему тусклое небо.

Алеше стало жутко. Хорошо бы бросить все и уйти домой. До просеки недалеко, а там напрямик по старому тележнику до Заборья рукой подать. Тетя Даша поставит на стол горячие щи, самовар. Можно никому и не говорить, что видел эти чертовы следы. Наткнешься на мишку, ранишь — поломает. Кто найдет охотника в глуши, на островке, в самом сердце большой гари? Сюда и летом-то люди не ходят.

Алеша в раздумье присел на поваленную сушину. Хрустнул, как выстрел, сучок, и рядом, совсем рядом за елочками завозилось что-то огромное, черное. Загремел на взлете глухарь и потянул через гарь к синеющему вдалеке лесу.

— Вот дурак! Вот дурак! — прошептал Алеша и вдруг заметил, что стоит с ружьем в руках, что уже поднят один курок и что очень жарко. Стало смешно, страх прошел.

Медведь не лег на островке. Через узкую лесистую перемычку он попал в сосновый молодняк и пошел опять прямо. Следить было легко до самых Шалагиных Нив. А потом потемнело небо. Хмурая туча что-то шепнула вершинам деревьев, раз, другой, и вершины, словно согласившись, загудели неумолчно и тоскливо, зашевелились, сбрасывая комья кучты. Затанцевали в сучьях снежинки, налетел снежный шквал. Алеша побежал... Дойти бы по исчезающим на глазах лункам следа хоть до первых петель. А след уже нечеткий, расплылся и вдруг разошелся сразу в три стороны. Встревоженный охотник стал обрезать след, обходить его кругом и запутался окончательно, выйдя на поляну, всю избитую крупными глубокими

ямками следов. Десяток медведей не мог бы натоптать больше!

Алеша понял, что медведь выбрался на лосиную тропу, прошел по ней аккуратно и скрыл свои следы там, где лоси разошлись на кормежку. Пришлось обойти все трудное место широким кругом, благо снег перестал валить так же неожиданно, как начался.

По просеке, по лесной дорожке, по чистой луговине почти бежал начинавший уже отчаиваться следопыт и вдруг с радостью обнаружил одинокий след уже в колхозном лесу, совсем недалеко от Вяжищ.

С каждым шагом все яснее становились отпечатки лап медведя.

Вот наконец и петля. За нею — двойка. Надо обходить!

Вскоре Алеша завершал круг. Было ясно, что дело сделано, зверь лег где-то близко. Теперь надо затоптать, запутать все следы, чтобы никто не догадался, что здесь обложен медведь, а после всё заметут вьюги.

В декабре, по глубокому снегу можно будет устроить облаву, позвать этого малювера Гришку, других ребят и кого-нибудь из опытных охотников постарше.

Алеша так размечтался, что почувствовал себя обиженным, чуть ли не обманутым, когда опять заметил знакомые лунки. След шел к полю. Это было невероятно.

— Ведь не ляжешь же ты в поле, не ляжешь... — бормотал Алеша, выходя на опушку. Впереди разбегались белые валики пашни, жнивье топорщилось желтой щеткой и с краю на бугре, между белой скатертью нив и темнеющим небом, виднелись серые кубики изб.

След пересек поле, пошел задворками деревни. Как люди не заметили медведя? Может быть, он шел ночью? Нет, отпечатки лап не припорошены недавним снегом, а там, где на лужах тяжелый зверь проломил ледок до воды, еще не разошлась муть.

У дома лесника медведь перемахнул через забор и через огород проник во двор. Алеша побежал туда из последних сил.

По широкому двору бродили куры и важно шагали три гуся.

В дверях сеновала над приставной лестницей сидела девочка лет четырнадцати. Русая коса ее лежала на медвежьей загривине. Девочка гладила небольшого медведя, лежавшего рядом, и спокойно выговаривала ему:

— Вернулся наконец, Тимофей! Тимочка, Тимошенька, где так долго пропадал?

Алеша устал смертельно. Подняв голову, он сказал хрипло и грубовато:

— Дай пить!

Девочка спустилась по лестнице и побежала в дом. Медведь ушел в глубь сеновала. Когда Алеша с трудом оторвался от холодного, пахнувшего ржавчиной ковшика, девочка приветливо поделилась:

— Видели? Тимофей пришей. Это наш медведик. Его папе военные охотники подарили маленьким-премаленьким. В конце лета он убежал в лес: испугался, когда во двор въехала машина с сеном. И вот вернулся...

ГОЛУБОЕ ПЯТНЫШКО

Как все охотники, я считаю рыболовов меньшими и незадачливыми братьями.

Встречаемся мы «на деле» редко.

Среди горячей и вольной погони за хитрым зверем — лисицей, бывает, остановишься, чтобы перевести дух и послушать, куда ведут собаки.

Вот тут и заметишь с высоты лесистой сопки, у озера, недвижимые фигурки, что вразброс или кучками чернеют на льду.

Подмигнешь товарищу: полюбуйся, дескать, на «холодных сапожников». Вот занятые — ниточка, в прорубь опущенная, на одном конце червяк, а на другом чудак. Впрочем, давай поехали, солнце к закату.

Натянешь опять рукавицы и марш вниз.

Пыль снежная за лыжами крутится, в ружейных стволах ветерок посвистывает. Хорошо!

В тот год запретили весеннюю охоту, не поехал я на розыск глухариных токов и грустил.

Вдруг звонок из Москвы. Шурин говорит:

— Завтра приеду в Ленинград, на целую неделю, в выходной давай поедem рыбу ловить.

— Что ж, мне теперь все равно, была не была, поедem.

— Хорошо, — отвечает, — мормышку привезу, мотыль и пешню покупай.

— Какого, — спрашиваю, — калибра пешню? Какой номер мотыля? Я в этом деле...

— Ладно, — кричит, — приеду, сам куплю.

В субботу после работы шурина куда-то ездил, привез разборный бурав для сверления льда и мотыль.

Мотыль похож на кетовую икру, это маленькие, нежные ярко-красные червячки. Хранить их, оказывается, надо в особой коробочке с дырочками и непременно поближе к телу, иначе они замерзнут.

Ночью мы пришли на вокзал. На ногах у нас были валенки с калошами, в руках лыжи и бур, за плечами у шурина специальный маленький деревянный чемоданчик, а у меня внучкин детский стульчик.

Вокруг, поджидая поезда, стояла толпа рыболовов. Молодые, старые, средневозрастные. В валенках, в резиновых сапогах, в ботинках. И каких только не было у них лыж — коротких, как клепки от бочонка, длинных, как аравийские пальмы! И каких только не было приборов для сокрушения льда: пешни, сверла, буры, ломики, лопатки!

Когда толпа хлынула в вагоны, мне почудилось, что у последних ершей в озерах встали дыбом плавники.

— Это грандиозно! — сказал я. — Завтра каждой рыбе предложат сто удочек.

— Это пустяки, — откликнулся шурин, — ты бы посмотрел, что в Москве по субботам делается — тысячи, армия.

Сидя в теплом вагоне среди подледных зубров, мы робко попросили совета: куда ехать?

Новички! Находка и радость для опытного рыболова.

Нас забросали названиями станций, озер, отмелей и мысов. Предложения были все более и более заманчивыми: плотва, окуни, крупные окуни, крупнейшие окуни и, наконец, трепетная мечта подледников — сиги.

Поезд шел, рассказчики вдохновлялись, озера переполнялись рыбой возрастающих размеров. Но нашего брата охотника удивить трудно. Сами можем такое порассказать, что не бывалый человек и не поверит.

Мы сошли с поезда в морозный предрассветный час и тронулись к озеру. Попутчики куда-то пропали. С нами остался немолодой человек в ватнике и высоченных резиновых сапогах.

Я долго приглядывался к нему и наконец узнал известного профессора, славящегося на ученых советах справедливостью и резкостью суждений.

Втроем мы побрели вдоль берега. Я предложил устроить на мысу привал и развести костерок. Профессор согласился: все равно на этом озере раньше двенадцати рыба не клюет.

Костер пересилил слабый утренний свет, и кругом сгустилась тьма. Потом солнце заставило потускнеть маленькое пламя, пляшущее в снегу, и большим красным шаром утвердилось над дальним лесом. Открылись прогалы между деревьев, и на рыхлых сугробах показа-

лись разные следы. Тут бродил заяц, оглядывая талы, там, по косогору, спускалась лисица. Ах как знакома и мила эта грамота! Это вам не рыбка, которую не видно и не слышно. Ни следка у ней, ни крика, ни песни... Темное дело.

Заскрипели лыжи. Горячий, мокрый, с пешней на плече, с деревянным ящиком за спиной прибежал рыболов.

Загорелое до черноты лицо, иссеченное ветровыми морщинками, глаза необыкновенного светло-желтого цвета, чуть припухшие губы, — вот он, зимохвал-подледник, из племени бескорыстных мечтателей.

Мне понравилось, как он без стеснения подсел к костру и налил себе стакан чаю, коротко пояснив:

— Разрешите? Что с собой было, старику на острове оставил, где ночевал. Как дела?

Из лесу с охапкой сушняка вышел профессор. Он сразу узнал пришельца:

— Костя!

— Александр Иванович!

— Ты как сюда попал?

— Да я еще в пятницу приехал. На два дня. Сейчас бегал подпуска смотрел. Двух налимов снял. Один порядочный.

— Куда народ пошел?

— Не знаю еще. Филатыч с карбюраторного у лесника с компанией ночует. Наши заводские со мной были, собирались на отмели. А ты опять к островкам?

Солнце побелело, сжалось и словно расплавилось — засияло огнем на снеговую гладь. В сизой дымке показался четкий урез хвойного острова. От берега медленно, как букашки по скатерти, поползли черные фигурки рыболовов.

Костя вскочил. Заслонив глаза, он долго вглядывался в чуть туманную даль и закричал восторженно:

— Пошли! Пошли, потом просоленные, ветром продутые. Гляди, от совхоза деповские идут, а со станции — это с «Металлиста». Филатыч! Филатыч на отмели двинулся...

Профессор разбросал костер.

Путь на озеро лежал через тростниковую щеточку. Шуршат рыжие сухие стебельки, а между ними к насту пристыли золотые заячьи орешки, у каждого надут поземкой белый снежный хвостик. Скрипят натужно лыжи, не скользят, а дергаются по частым гребешкам крепкой снеговой волны. Час идем, второй начали, нет на белом полотне ни просек, ни тропин, ни горушек, никаких приметин. Ближе к середине плеса на отмели сгрудились рыбаки. Никто не взглянул на нас, пришельцев, — не такое время, не такое дело, чтобы любопытствовать. Только один не выдержал и, когда показалось ему, что мы остановились, бросился навстречу и у самых наших ног стал долбить лунку. Как заявку на драгоценную жилу остолбил.

И впрямь похожи сейчас рыбаки на старателей. Сидят молча на ящиках, руками перебирают, как руду моют, и рядом столбиком пешня воткнута.

И каждый ловит по-разному. Иной горячо: вытащит рыбку и кинет, не глядя, куда попало на снег; кругом рыба валяется. Другой каждого окунька заботливо, со счетом укладывает в ящик.

Спрашиваю профессора:

— Как это люди грудятся? Примет на льду нет никаких.

— Это дело простое, — отвечает наш спутник, зорко оглядываясь по сторонам. — Вначале разбредутся кто куда, потом у кого-нибудь начнет клевать. Другой осторожничает, таится. Все равно, неведомо как — хоть за

километр, хоть за два, заметят рыбаки. Глядишь, человек десять вокруг, и всё новые подбираются.

Шурин с трудом раскидал ногами снег и пустил в ход бурав.

Закачалась в лунке вода такой неопишуемой чистоты и ясности, что бывает только в наших северных озерах. Вот и вторая лунка. Мы усаживаемся...

Не ладится дело. Мормышка — это маленькая свинцовая дробинка с тонюсеньким крючком. Мотыля надо насаживать на крючок головкой, а головки нет.

Вынимаю из кармана очки. Червячок вроде красной ниточки, а головка, ей-богу, меньше булавоочной. От непомерного моего старания мотыль рассусоливается между пальцами и головка исчезает совсем.

Надо передохнуть. Оглядываюсь. У шурина рядом с ящиком бьются две рыбки. Профессор недвижно сидит спиной ко мне. Пока я оглядывался, грудка мотыля на моей коленке замерзла. Теперь на крючок не надеть — крошатся. Попробуйте такую точную работу голыми руками да на морозе! С трудом справился. Потихоньку уходит паутинка-леска на шестиметровую глубину. Остановилась, качнулась... Подсечка! Я что-то тащу. С легким плеском сквозь кружево нового льда, что успел намерзнуть, выскакивает из лунки окунь. Да полно, окунь ли это? Не рыба — прекрасный цветок на снегу. Нежно-зеленые полосы, плавники ярче летней розы, у глаза пятнышко голубое, как апрельское небо. И сразу тускнеет, пропадает на глазах лазурное пятнышко. Видно, считаное у него время, и знают о нем одни подледные рыбаки.

Не похожи эти чудесные рыбки на тех, что ловятся в темной и теплой летней воде. А те, что грудкой лежат на прилавках под этикеткой «окунь мелкий, охлажденный, 2-я категория», наверное, и вовсе другой породы.

Нестерпимо сияет солнце. спине жарко, ногам холодно, глазам больно. Невозможно смотреть на сверкающее озеро, лучше уткнуться взглядом в свою тень.

Сосед достает из ящика термос. Я с вожделием смотрю на парок у черного стаканчика, чувствую четкую поклевку, быстро перебираю леску. Всплеск! На снегу бьется сиг. Сиг, настоящий сиг! Серебристый, с длинными, как у самолета, хвостовыми плавниками, он строен и стремителен. Не может быть, что его выловил я! Конечно, он сам в резвом подледном беге заметил светлое окошечко и выскочил, играя, на свет, на простор. Не нужны ему глупая мормышка и красный червяк — мотыль.

Багровая лепешка солнца плющится о прибрежный холм. Озеро пустеет.

Паровоз, бросая вперед яркий свет прожектора и деловито попыхивая, пробирается среди лесистых холмов к светлому зареву над городом.

В вагоне тепло. Пахнет свежей рыбой. Сквозь дрему слушаю неторопливый разговор соседей и думаю: «Рыбаки, да вы те же охотники. И рассказы у вас такие же, знакомые и соленые, и жизнь беспокойная, и, главное, живет в вас та же любовь к свежему озерному ветру, к багровым зорям над хвойными вершинами, к зовущим родным просторам. Вы странное племя бескорыстных мечтателей; вы по субботам, торопясь, собираете смешные маленькие удочки, и когда все домашние ложатся спать, одеваются и бредете на вокзал. Я с вами...»

СОДЕРЖАНИЕ

СОЛНЦЕВОРОТ

Начало годового круга	5
Проталинки	7
В зеленом наряде	11
Листопад	19
Белая тропа	25

ЛАРЫ

Рождение гончей	31
«У нас так принято»	36
Недолгое счастье	42
Убивец	45
Вазелиновые гончие	58
Пороша	67
Выбор	74
Трижды рожденная	80
Прощание с Пиком	98
Охотничий рог	108

МИЛЫЕ УРОДИКИ

Тайный грех	116
Царский Лорд	119
Лисогон	125
Камчадалка	129
Любимая Люба	131
Однострельная англичанка	135
День справедливости	138
Соловей безголосый	141
Секрет Ярика	148
Пыжик	153

НА ОХОТЕ

Снова утро	156
Кун	167
Зеленые глаза	169
Тимофей	176
Голубое пятнышко	184

«В мире животных»

Еженедельное издание

Литературно-художественное издание

Ливеровский Алексей Алексеевич

СЕКРЕТ ЯРИКА

Главный редактор Е. А. Трофимов

Ответственный редактор *М. Решетина*

Художественный редактор *Е. Саламашенко*

Технический редактор *Е. Траскевич*

Корректор *Е. Волкова*

Верстка *Е. Падалка*

Подписано в печать 26.10.2015.

Формат издания 84×108^{1/32}. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 10,08. Тираж 7045 экз. Заказ № 1780.

Издатель ООО «Торгово-издательский дом «Амфора».

197110, Санкт-Петербург,

наб. Адмирала Лазарева, д. 20, литера А.

www.amphora.ru, e-mail: secret@amphora.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета

в ОАО «ИПП «Правда Севера».

163002, г. Архангельск, Новгородский пр., д. 32.

Тел./факс: (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78.

www.ippss.ru, e-mail: zakaz@ippss.ru

12+ | Издание не рекомендуется детям младше 12 лет

Книги о животных — это, быть может, самое гуманное из написанного людьми. Такие разные — милые, пугающие, беззащитные, отважные, — зачастую именно звери учат нас и наших детей тому, что такое преданность, самопожертвование, любовь, что такое — быть человеком.



В книгу Алексея Алексеевича Ливеровского (1903–1989), талантливого писателя и потомственного охотника, вошли рассказы о собаках и охоте.

Ливеровский остался охотником на всю жизнь. Он не только слушает и понимает бессловесные голоса земли и моря, но и переводит их людям, не глухим к музыке родной земли.

Виталий Бианки

Фотография автора работы О. Гусева

 амфора
amphora.ru



ISBN 978-5-367-03786-9

Пропущенные выпуски
покупайте на

ozon.ru

Read.ru

12+



В МИРЕ ЖИВОТНЫХ